ВРЕМЯ И МЫ

58

1981

В НОМЕРЕ: ЯН ГЕРШИЦ – НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ ● КИНО И СЕКС ● ШОСТАКОВИЧ, КАКИМ ОН БЫЛ ● МАФИИ В ДРЕВНЕМ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ● ПРОЦЕСС ВИКТОРА КРАВЧЕНКО ● ИСКУССТВО АЛЕКСАНДРА АРЕФЬЕВА

ЕВРЕЙСКИЕ КОРОЛИ АМЕРИКИ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Седьмой год издания

Выходит один раз в два месяца

58

1981 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

НЬЮ-ЙОРК-ИЕРУСАЛИМ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 'ВРЕМЯ И МЫ - 1981

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ВИКТОР НЕКРАСОВ
АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН /зам. гл. редактора/
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6.

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд.
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92160 SURESNES FRANCE.

Представители журнала

Англия — Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hew Road Rastrick, Brighouse W Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Западный Берлин — Лотар Ролл
Lipschitzallee 24, 1000 Berlin 47. T. 603 33 49

Канада — Юрий Лурьи
306 Robton Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2
t (204) 474 9773

ФРГ — Арий Вернер
Postfach 50 196B 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Аркадии ЛЬВОВ
Новый американец 5

Руфь ЗЕРНОВА
Элизабет Арден 51

ПОЭЗИЯ

Леонид ИОФФЕ
Ради продолжения 96

Илья БОКШТЕЙН
Мелодия цвета 102

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Анатолий ФЕДОСЕЕВ
Социалистическая святость или разумный эгоизм 107

Вольфганг Зеев РУБИНЗОН
От царя Давида до Липке Бухгалтера 116

Исраэль ШАМИР
Империя чувств 139

А. АБРАМОВ
Мощь и инфантильность гения 155

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Из стенограммы процесса Виктора КРАВЧЕНКО
Я выбрал свободу 172

ВЕРНИСАЖ " ВРЕМЯ И МЫ"

Искусство Александра Арефьева 242

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

Аркадий ЛЬВОВ

НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

С Америкой произошло то же, что происходит со всеми вещами на свете: издали — одно, вблизи — другое. Не то, чтобы лучше или хуже, а — другое. Совсем другое. У Эдгара По есть рассказ: человек отчетливо видит какое-то чудовище, чудовище ни на что не похоже, и, как все непохожее, незнакомое, внушает ужас, парализует. Самое поразительное — обычные трюки По! — чудовище оказывается банальным насекомым, которое заняло чуть не полгоризонта, по вине человеческого глаза: глаз выбрал для обзора не тот угол, а мозг внес поправку. Бывает? Бывает. Мало сказать, бывает: будни, на том стоим — то слишком близко подносим к глазу, то слишком далеко, пойди, найди точную меру.

Ян Гершиц, длинный, тощий, в очках, стоял у витрины Забар, магазина деликатесов на углу Бродвея и Восьмидесятой, и смотрел: семга, крытая тончайшим срезом жемчуга, колбасы, бурые, задубелые с зеленой из бронзового века патиной

Copyright автора.

по кожуре, сыры с благоуханной своей вонью, от которой голова идет кругом, греческие маслины, черные, как черные дыры галактики, и икра — осетровая зернистая, осетровая паюсная, осетровая ястычная, по колеру вся в узкой гамме серого зимнего неба, и багровая, малиновая, янтарная от кеты, горбуши, нерки, чавычи, кижуча.

Гершиц приходил сюда раз в неделю. Он шел пешком с Кингсбридж-роуд, на углу Джером-авеню, где кирпичный, с башнями, как средневековый замок, Арсенал: дорога занимала три часа. Эти три часа были настоящей жизнью, когда не задаешься идиотскими вопросами — для чего, для кого живем? В чем смысл жизни? Ходьба сама была смыслом жизни, потому что было движение, был маршрут, была цель.

В Одессе, особенно в последний год, когда он уже бросил работу и решил твердо, ехать надо, он тоже много ходил: ходил просто по городу, ходил в баню, бани выбирал подальше, чтобы на дорогу и мытье полдня, не меньше. Но настоящая радость, настоящий праздник, карнавал, фиеста, был Новый базар. Он поднимался по каменным, еще со старого, до революции времени, ступеням из вулканического туфа, который привезли из Италии, в мясной корпус — огромное, как заводской цех, здание со стеклянной крышей, с металлическими опорами и перекрытиями, с мраморными стойками, с громадными, на стальных трубах крюками для десятипудовых туш — и ходил от прилавка к прилавку, за которыми в тулупах, в фуфайках, в ватниках, поверх, из белой холстины, передниках, с пятнами крови и жира, тяжело ворочались, среди своих окороков, колбас, сальтисонов, бабы и мужики из колхозов.

Цены были сумасшедшие — восемь-десять рублей килограмм, а у него на весь харч тридцать рублей в месяц. Но на цены ему было плевать, он подолгу высматривал куски в золотистых, с инкрустацией из белых квадратов сала и тыкал пальцем: это. Если кусок был небольшой, хозяин подавал весь кусок, а нет, отрезал на пробу. Гершиц долго нюхал его, жмурил глаза, перекладывал с ладони на ладонь, открывал глаза, очки задирал на лоб, щурился, придирчиво осматривал

каждый узор, говорил хозяину, прозелени многовато — свежее ли? — хозяин клялся, пусть они с жинкой подохнут на месте, если не свежее, он снова нюхал, жмурился, возвращал товар хозяину и переходил к следующему. Бывали неприятные минуты: мужики, бабы вдогонку кричали проклятия, называли побирухой, жуликом, но, в общем, все это было в порядке вещей — базар есть базар.

На улице было холодно, четырнадцать по Фаренгейту, десять ниже нуля по Цельсию. В узконосых, на тонкой кожаной подошве, еще из России туфлях мерзли ноги. Через пыльник — одесские евреи говорили пальтисрак на рыбьем меху — мороз продирал до костей. Он, однако, не сдавался, держался, сколько мог, довел себя до дрожи и еще дрожащий, чтобы по-настоящему оценить тепло и уют, разрешил себе зайти в магазин.

В магазине, от обилия веревок, на которых висели колбасы, сыры, вяленая рыба, загадочные белые бурдюки, от дубовых бочек с соленьями, от запахов их, перемешанных с пронзительными ароматами специй, возникло явственное ощущение корабельного трюма — все качалось перед глазами: люди, бочки, колбасы, бурдюки — выступавшие из стен шпангоуты, связанные поверху бимсами, кружилась голова над палубой, под открытым небом, забранным тяжелыми зимними тучами, натужно, казалось, вот-вот лопнут, раздувались паруса, и барк, под стать Летучему Голландцу, несся в ночи, над бездной, вперед, неведомо куда.

В магазине всегда была толчея, цены здесь были сумасшедшие, как на Новом базаре в Одессе, но люди толклись в очередях, платили бешеные деньги, хотя рядом, два-три квартала налево, направо, ту же рыбу, те же сыры, колбасы и сальтисоны можно было купить чуть ли не вдвое дешевле. Это было странно: без понуждения, по собственной воле, люди платили вдвое и, не было никакого сомнения, платили бы и втрое, если бы хозяева, мадьярские евреи Забар, проявили побольше характера и воли.

Ян Гершиц был писатель, в России есть такая профессия — писатель, в Америке такой профессии нет, в Америке писа-

тель — это хобби. Двадцать лет Ян Гершиц писал в Одессе свою прозу — он никогда не говорил, повести, рассказы, он всегда говорил, прозу — и ровно столько же, двадцать лет, его не печатали. Точнее, один раз или два раза напечатали, в городской газете, но газета была украинская, рассказы перевели на украинский язык, а Ян Гершиц писал по-русски и только русский считал по-настоящему пригодным для литературы.

Писатель должен иметь глаз, писатель должен наблюдать. Поначалу, когда он чувствовал себя еще первопроходцем Бродвея и только открыл магазин Забар, который был целый мир, он приходил сюда, чтобы наблюдать. Здесь была настоящая жизнь, американцы не прятались, не совались в лицо со своими, в тридцать два зуба, улыбками — у Картера, президента, главная статья расхода зубная паста, сто баксов в год! — здесь они были люди, как люди, для которых хорошо покушать — первое дело на свете.

В королевстве Забар не было нужды кривить душой, притворяться, напротив, для того они сюда и приходили, чтобы открыть — пусть видят все — потаенные углы своей здоровой американской души, которая на деле была просто чрево. Строго говоря, это открытие он сделал еще прежде, когда слонялся по Бродвею, от Ривердэйл до Баттери-парк, где паром на Стэйтен Айленд и морские трамваи к статуе Свободы, и всю дорогу, километров, наверное, двадцать пять, заглядывал в окна ресторанов, баров, кафе, с хрустальными их люстрами, свечами под красными стеклянными колпаками и ночниками, которые были не более светящихся точек в темном пространстве. Однако рестораны, бары, кафе — это был мир за стеклом, заповедный край, а королевство Забар было для всех. Здешние владыки, как все владыки на свете, были коварны, и надо было постоянно быть начеку, чтобы не поддаться соблазну, от которого прямая дорога к полному разору. И все же один раз — это было накануне дня Вашингтона — Гершиц не выдержал: королевство распродавало по бросовой цене колбасные обрезки и прижаберные доли семги.

В тот вечер — ах, какой это был вечер! — он истратил восемь долларов. За эти восемь долларов он получил от Забар

два фунта колбасы и два фунта рыбы, именно колбасы, именно рыбы, потому что колбасу, возьмите хоть метровую палку, все равно надо пустить на ломти — те же обрезки, а у семги, кто знает толк в этом деле, самые жирные, самые сочные части как раз здесь, где кончаются жабры и под большой челюстной щелью начинается переход к туловищу.

В тот же вечер Гершиц купил сетку луку — сорок пять центов, буханку ржаного хлеба — на вес шесть фунтов — и две недели, изо дня в день, пировал. Но в этом мире, увы, все наскучивает, и пиры не исключение. Пиры, которые стали буднями, — это уже не пиры. Гершиц стал корить себя за мотовство, за пошлый купеческий разгул: восемь долларов не восемь миллионов, но восемь долларов — это без малого полпуда куры, — в России учитель, инженер в неделю не выбьет, — и строго наказал себе: это первый и последний раз. И действительно, это был первый и последний раз. Теперь он приходил в королевство Забар, чтобы наблюдать. Правда, наблюдая, он попутно потчевался, вволю, ароматами здешней пряной жизни, но, как открыли герои Франсуа Рабле, известного кюре в Медоне, за запах мяса платят звоном монеты, а звон монеты, эту роскошь, Гершиц мог позволить себе вполне.

Американцы, чем пристальнее Гершиц всматривался в них, тем больше теряли в его глазах. Американцы — это нечто жрущее, пьющее, жующее, и вся их жизнь направлена на это: жрать, пить, жевать.

В сабвее жуют, на телеэкране жуют, в кино жуют, дома жуют, в гостях жуют — не страна, а какие-то мегачелюсти и мегабрюхо на семь миллионов квадратных километров. А работают как? Оттуда, из России, в никелевом блеске своих бамперов, синьковых джинсах Ли и благовонных клубах Марлборо, они были сверхчеловеки, люди из будущего. А на деле? На деле сплошной бардак: супера зовешь — не дозовешься, на почте полдня толчешься, чтобы отправить посылку, за телефон платить — стань в очередь, а очередь, как удав, где голова, там и хвост, и крутись, как идиот, полтора часа по петлям и кольцам. Время — деньги! Это же надо быть последним подонком, чтобы говорить такое в стране, где каж-

дый день теряешь полжизни на стояние в очередях. Не за хлебом — так получить по чеку в банке, не за мясом — так за фуд-стэмпами, не в поликлинику — так оформить медикейт. Словом, не в лоб, так по лбу. Точнее не скажешь.

Отогревшись, нанюхавшись вволю, Гершиц пустился в обратный путь — те же три часа. Тысячи раз его предупреждали: вечером в Гарлем — ни за какие деньги, разденут, убьют — и на мыло. Был страх. Но писатель — это опыт, а без страха, без риска, какой опыт, и Гершиц приказал себе: иди. И пошел. Миновав Колумбийский университет — традиционная европейская застройка закрытым квадратом — он вышел на пустынную Сто двадцатую.

Вскоре после улицы Лассаль открылось, однако, что настоящая пустыня, настоящее безлюдье, пошло лишь отсюда. Было ощущение, что потускнели фонари, свет от них сделался холодный, северный, не свет, а зимние свинцовые сумерки. Хотелось бежать, хотелось кричать, маячили, и все в отдалении, одинокие фигуры.

Гершиц внушал себе, что это путники, такие же, как и он, но обмануть можно лишь рассудок, нутро обмануть нельзя, и под ребрами, где средостение, не проходило ощущение, будто ледяная рука сжимала нечто студенистое, в крошечных, как косточки зеленого лимона, ячейках. Во рту набегала слюна, вязкая, кислая, он заглатывал ее, отчетливо видел, как перекатывается собственный его кадык на синей от холода шее, перехватывало дыхание. Он разевал по-рыбьи рот, пучились от удушья глаза, сердце замирало, он делал три-четыре шага вперед, сердце оставалось там, позади, казалось, еще шаг-два и конец, но внезапно, в один прыжок, сердце нагоняло его и со всего разбега бухало в грудь. Удар был тяжелый, как от конского копыта. Под Сто пятьдесят пятой вдруг слева и справа от Бродвея пошли кресты, памятники — кладбище Троицы — и хотя, как известно, от покойников никакого вреда живому, живому вред только от живого, но буквально все заледенело внутри: не миновать!

Отпустило лишь у Вашингтон Хайтс. Людей стало побольше, машины, на красный свет, стояли у перекрестков, крик-

нешь — наверняка услышат, не могут не услышать. Хотя услышать — услышат, а дальше? На Тридцать четвертой, Мэдисон Сквер Гарден, негр в сабвее сбросил белую девочку под поезд — и дал тягу. Было шесть часов вечера, час пик, на платформе толпа, не пробиться, а парень пробился, и потеснился народ, и место нашлось: расступитесь, расступитесь — эй, дорогу бандиту!

От моста, по Кингсбридж-роуд, дорога ведет круто вверх. Не только человек, машины, автобусы задыхаются здесь на подъеме. Но Гершиц приказал себе — беги! — и побежал. Человек — загадка: только что не продохнуть было, а тут вдруг дыхание, как у оленя,— только пар из ноздрей шибает. Гершиц держал скорость до госпиталя Ветеранов, Седжвик-авеню. Здесь на дежурстве всегда вахтеры, вахтер не полисмен, но как-никак униформа, дубинка, воки-токи. Добежал, прислонился к ограде, в горле, в груди от холодного воздуха рези, сердце, как заяц в мешке: бух, бух, бух!

Ничего, отдышался. Устал, ноги подкашиваются, но на душе праздник: выстоял, себя одолел, не всякий из дюжины себя одолеет. Захотелось чего-то такого, чтоб и приятно и без труда — как в лотерее: открыл газету — бах, выигрыш! На Джером, угол Сто девяносто четвертой, "Макдональд" — "Макдалэнек", — говорит Маня Гештыпельте, из Кишинева, — но там только волю дай себе, "биг-мак" с кетчупом, даже не "биг-мак", а просто "хамбургер", пакетик картофеля, кофе с молоком — попробуй остановиться, за один вечер ухнешь столько, что потом не ешь, не пей, в неделю не оправиться. Нет, намечено — "Макдональд" два раза в месяц, когда чек Найана присылает, и держи, железно, а то опять, как тогда с "Забар", восемь долларов ни на что, на ветер.

"Макдональд", по Джером, направо, Гершиц свернул налево. На углу итальянский ресторан — смешно сказать, ресторан: забегаловка! — обычное дело, сидят жуют два полисмена, с трудом втиснули свои животы, дубинки на стол. Двадцать пять тысяч баков на рыло в год — за что? — хоть бы на минуту застопорили челюсти, так и мелют свои стэйки, а каждый стэйк, как коровий бок, — в один взгляд не охватишь.

Не, застопорили: в клозет мальчикам надо, опростаться. Ну, и страна! За пятьдесят лет своей жизни в Одессе Гершиц не видел милиционера, чтобы вот так, на глазах у публики, заседал в кабаке.

Гершиц тьфукнул, сплюнул и зашагал домой. У супермаркета остановился на минуту, в витрине афиши — опять распродажа, опять задаром все, а на деле цены за сезон чуть не вполовину: когда приехал, фунт творога был за шестьдесят девять, а теперь — доллар, доллар девять. А без творога ни шагу, без творога холестерину столько набьется в сосуды, что помпой откачивай — не откачаешь. И цены все вверх, вверх, выгребут последнюю копейку, а не спустят: лучше на свалку, в контейнер, где всякое дерьмо, и в мусоровоз. Сволочи!

Слева, у глухой стены, огромный, чуть не в полтротуара контейнер, обе крышки стоймя: наложили столько, что не закрыть. Гершиц осмотрелся — у Арсенала, на противоположной стороне, стояли кучкой негры, вертели под транзисторы задами. Подогнул рукава, чтобы не испачкать, из битых банок вытекла томатная паста, верхний слой сгреб в сторону, и первое, что открылось, были два коробка с яйцами, по дюжине. Крышки прилипли к коробкам — белок, особенно примороженный, держит, как цемент — попробовал открыть, ни-ни, пришлось надорвать кусок: четыре яйца, одно к одному, как только что с фермы, битые по углам, белок вытек, но желтки все целы. Другой коробок нет резону проверять, проверить можно дома, а здесь дело делать надо. Коробки поставил наземь, впритык к стене, а то ненароком и сам придавишь. На секунду призадумался — искать наобум нельзя, в поиске нужна система, чтобы не получилось, как у кота-недоумка: наложил в одном месте, загребает лапой в другом, — разровнял правую половину, положил сверху лист бумаги, передний край выпустил наружу, поверх листа; чтобы надежнее было, положил, перекрывая один другим по кромке, полдюжины полиэтиленовых мешочков и взялся перекладывать из левого отсека в правый. Перекладывал без спешки — куча справа, огражденная сзади крышкой, могла рушиться в любой момент, и тогда вся работа насмарку, начинай сначала, но это сказать легко: сначала!

У Арсенала черные бабы, подставляясь мужикам, без остановки вертели толстыми своими задами, прохожие все были вдали — на Кингсбридж. Едва успел подумать о прохожих, из-за угла появились двое — он и она, пуэрториканцы,— через каждые полшага присасывались, выпятив губы, друг к другу. Гершиц повернулся спиной к контейнеру, стал тревожно глядеть по сторонам и окликать хриплым голосом: Рекс, Рекс! Издали, со стороны Леман-колледжа, донесся глухой собачий лай, Гершиц прислушался — двое как раз поравнялись с ним — покачал головой, нет, это был не Рекс, и опять стал окликать: Рекс, Рекс!

Пуэрториканцы миновали его, даже не повернули головы. Гершиц перестал окликать собаку — черт знает из-за кого приходится валять Ваньку! — и принялся снова за дело. Еще до середины не добрался — тут глазам своим не поверишь! — вытащил брус "чеддера", без малого фунт, и целлофановый бурдюк, набитый паштетом.

Удача, это Гершиц заметил давно, как и неудача, идет пачками. Про неудачу даже пословица есть: пришла беда — открывай ворота, а про везение пословицы нет, хотя математическая пружина здесь наверняка та же: кучность событий. Что пружина та же, не могло быть сомнений: пошли один за другим шесть пакетов круглых английских булочек "маффин". Под пакетами блеснуло черное стекло: "бадвайзер". Гершиц от неожиданности забыл про осторожность, рывком, уводящим движением вправо, как будто кто-то мог выхватить, поднял бутылку вверх, задел локтем кучу, хотел удержать, но не успел: куча рухнула на голову, за воротник потекла томатная паста, взял лист бумаги, скомкал, чтоб помягче было, и запустил под рубаху. Тер долго, однако рубаха, как только вынимал бумагу, прилипала к спине. Гершиц собрал весь свой харч — яйца, сыр, паштет, булки, пиво — в один пакет и двинул домой, однако по дороге ударило в голову: проложить между спиной и рубахой лист бумаги, и пусть прилипает, а он досмотрит контейнер до конца — даже по среднему счету,

взять наверняка еще вдвое против того, что взял. А вдвое, пусть даже не вдвое, это на неделю, а через неделю опять — и холодильник забит калория ми, и фуд-стэмпы в сармак.

Гершиц не ошибся: набрал столько, что в два пакета не уместилось, пришлось бежать за коробкой к итальянцам, водочный магазин на углу Джером и Кингсбридж. Пакеты, чтобы лишний раз не таскаться с грузом, спрятал за контейнером и обложил на всякий случай мусором: время позднее, но добро всегда добро.

Дома, не раздевшись еще, Гершиц стал выкладывать все на стол. Сыр, хотя срок хранения истек две недели назад, был в отличном состоянии — чуть-чуть зелеными кружочками, с белесоватым налетом по краям, местами пошла плесень; колбаса поверху покрылась тонким слоем слизи, но запах был безупречный, а мясо, даже с первой тухлятинкой, если хорошо проварить, добавить побольше луку, надо специально принюхиваться, чтобы отличить от свежья.

В Одессе, на Привозе, на Новом базаре, Гершиц покупал сальтисон по рублю десять за килограмм, со свиной щетиной, заделанной в сало и сухожилия. Жена, Мина, смеялась: небритая колбаса! — и ничего, ели, мало сказать, ели — еще и языком от удовольствия цокали. А за небритой этой колбасой, чтоб по государственной цене, надо было еще в очереди постоять, а до этого надо было еще узнать, где, в каком магазине, давать будут. Эх, Россия, несчастная Россия!

В этот вечер Гершиц любил Америку. В Америке есть свои недостатки — где их нет! — но если действовать, не ждать у моря погоды, здесь можно так взлететь, что орлы под тобой будут, как воробчики.

Гершиц засмеялся: в Оренбургской области, он проходил там военную службу, воробьев называли жидами. Он спросил солдата — солдат был из тамошних, из Соль-Илецка, — почему жидами, солдат задумался, не мог ответить с ходу, потом, однако, смекнул, нашел объяснение: жиды и есть жиды, сами не сеют, не жнут, а норовят чужое сцапать. Гершиц сказал солдату, это интересно, есть своя логика, а солдат загоготал: логика, вот окрутит тебя жид, в голую сраку целовать свою логику будешь! Про себя Гершиц всем говорил, что он белорус, солдаты то верили, то не верили — а очки откуда? а "рры" откуда? — требовали, чтобы он произнес слово "кукуруза". Гершиц весь собирался, произносил раздельно, по слогам — ку-ку-ру-за — звучало неплохо, но солдаты тут же наваливались скопом, давай не финти, давай, как все люди — кукуруза! — но, как у всех, у Гершица не получалось, получалось "кукууза". Тут оставалось одно, сослаться на Ленина, у которого тоже были нелады с "р", но параллель отвергалась сходу, солдаты говорили, ты себя с Лениным не равняй, однако страсти на время утихали. Гершиц опять числился в белорусах, но обязательно приходил день, когда солдаты наново учиняли ему экзамен, и все повторялось, как в кино, вроде в пятый, в десятый раз крутят ту же ленту. Впрочем, все, да не все: Гершиц ненавидел это мужичье, ненавидел за то, что не верят ему, за то, что надо лгать, и за то, что этому неверию и этому вранью нет ни конца, ни краю. Нет и не будет.

Прежде, чем переложить в холодильник, Гершиц подсчитал: продуктов набралось долларов на тридцать. Тридцать долларов — это у Коли, на Орчар-стрит, Дилэнси, нейлоновая шуба. В Одессе, на толчке, такая шуба — четыре сотни, а за четыре сотни в общежитии ремесленной школы пароходства воспитателям надо вкалывать чуть не полгода. И то — это легко сказать — вкалывать! С одной стороны начальство, буквально кишки выматывало, с другой стороны, воспитанники, все бандюги, один в одного, пырнут ножом и не икнут. Один хрен, что ночь здесь в Нью-Йорке, что там, в Одессе, на Таможенной площади, среди портовой шпаны.

Гершиц заварил чай, ложечка сахару — поменьше сладкого, сладкое нагрузка для поджелудочной железы, — отрезал ломтик "чеддера", ломтик "мюнстера" и паштета, раскрыл "маффин", даже разрезать не пришлось, уже было разрезано, уложил слой на слой, внутрь, нажал двумя руками и откусил.

Что человеку надо? Один бутерброд — и человек счастлив. Бутерброд, за который не надо платить, не надо говорить спасибо, не надо считать-пересчитывать в уме, сколько будет в неделю, если вот так каждый день, сколько будет в месяц, ес¬

ли каждую неделю, а просто сиди и жуй в свое удовольствие, как дышишь воздухом, как пьешь воду, и не думаешь, во сколько они обходятся, глоток воздуха и глоток воды.

С Миной развелись давно, задолго до его отъезда. Жить остались в той же квартире, каждый на своей половине. Комнаты были смежные, имели общую дверь, дверь, в зависимости от отношений, то запирали — он со своей стороны, она со своей — то отпирали. Мина сказала, развод разводом, а ей нужен мужчина на каждую ночь, без этого нет смысла жить, и завела себе Арика, лет на двадцать моложе. У Арика на Молдаванке была жена, двое детей, но жизнь не сложилась, и Арик перебрался к Мине. Про Арика во дворе все знали, что он двоюродный брат Мины и приехал в Одессу из Бессарабии, устроиться. Обычное дело: прописку в Одессе не давали, поселялись у родственников, свояков, время шло, и все понемногу привыкали — соседи, домоуправление, милиция.

Поначалу у Гершица с Ариком были неважные отношения: каждую ночь Арик раскалял Мину до того, что надо было иметь железные нервы лежать за дверью и все это слушать. От Мининых визгов-воплей и жлобских слов ее хахаля — двоюродный братик! альфонс вонючий! — Гершица буквально воротило, он принимался колотить руками-ногами в дверь и кричал, чтобы прекратили непотребство. На шум прибегала соседка, баба Дуня, которая жила в доме еще с того лета, когда в июне пятого года по Одессе стрелял броненосец "Князь Потемкин-Таврический", снаряд упал совсем рядом, на Тираспольской площади. Баба Дуня кричала из-за двери, чтобы не устраивали посеред ночи бардак, а то она вызовет надзирателя, и нехай милиция разберется, кто двоюродный брат, а кто е...ь с улицы. Угрозы были несерьезные, баба Дуня была свой человек и преданная больше, чем кровная родичка, Гершиц продолжал колотить в дверь, а Мина с Ариком делали свое.

На следующий день Гершиц буравчиком сверлил в общей двери, из парадного в квартиру, дырочки и царапал кремнем стекла. Баба Дуня приходила в ярость, поначалу все сваливала на Арика. Арик клялся здоровьем своей мамы, что он не такой идиот, чтобы самому себе делать пакость, баба Дуня,

подумав немного, соглашалась, что Арику в его положении действительно нет никакого резона привлекать к себе внимания, тут же набрасывалась на Гершица и вспоминала, что до войны еще мальчиком он был первый паскудник во дворе и всегда пакостил соседям, а доставалось за это другим. Гершиц в ответ говорил старухе всякие обидные слова, говорил, что в ее годы порядочные люди имеют уже постоянную прописку на Втором Христианском, баба Дуня кричала, ципун ему на язык, а таких, как он, она пережила полдвора и его переживет. А когда пришло время уезжать, старуха плакала и просила Гершица, чтоб следил за собой и не гулял в сырую погоду, а то у него с детства слабое горло.

Гершиц доел свой бутерброд, во рту оставалось приятное ощущение маслянистости, жаль, бабы Дуни нет рядом, она бы оценила и "чеддер", и паштет, и "маффин" с чуть сыроватым крестьянским привкусом, как умели оценивать там, в России, только очень старые люди, которые помнили продукты, какие они были еще при царе Николае.

На ночь Гершиц закрывал дверь на два замка и подпирал ломом. Про лом он узнал от соседей, которые говорили, теперешний Бронкс не чета прежнему, Грэнд Конкорс была, как Дерибасовская в Одессе, в свое время здесь жил сам Троцкий, а в последние годы, когда со всех сторон стали наползать пуэрториканцы, евреи разбежались кто куда, из приличных людей остались одни ирландцы, но скоро и этих не будет. В общем, можно еще потянуть, но лучше уйти, пока не поздно. Про свои планы перебраться куда-нибудь в Квинс, в Бруклин Гершиц писал в Одессу и всякий раз предупреждал, чтобы не волновались, если выйдет задержка с письмами.

Мина оттуда, из Одессы, все видела по-своему и отвечала Гершицу, пусть перебирается, куда угодно, это его личное дело, ей все равно, где он будет жить и с кем он будет жить, но пора, прошло уже полгода, вернуть деньги, которые он занял у нее, чтобы выкупить свою выездную визу.

Деньги за визу были немалые, девятьсот рублей, Гершиц с трудом наскреб триста, — еще счастье, удалось зажать в библиотеке "Толковый словарь" Даля, пошел за полсотни, нужен

бы для себя, но с библиотечным штампом в Чопе все равно не проскочить, — остальные шестьсот дала Мина. Перед отъездом договорились, что он вышлет туфли из Италии, добавит несколько шмуток, повторит еще раз-другой. Туфли в Одессе на толчке по сотне за пару, и дело с концом.

Из Италии Гершиц несколько раз писал, что собирает посылку и в ближайшее время вышлет. По всем расчетам, посылка давно должна была прибыть. Мина каждый день спрашивала у почтальона, ходила несколько раз на почтамт, просила, чтобы навели справки, про итальянцев говорила, что у них известный бардак, наверняка напутали. Насчет бардака у итальянцев одесские почтари не возражали, но где искать и как искать — сказать не могли.

Потом пришло письмо из Нью-Йорка — насчет посылки ни слова. Мина ответила тут же, про итальянцев повторила, что у них известный бардак, и не только у итальянцев — Гершиц намек понял: Мина имела в виду русскую почту, — но если дело не в почте, тогда ей остается сказать одно, что Гершиц подлец, она могла бы добавить, подлец и вор, но пока добавлять не будет.

Недели через две Мина получила вызов на переговорную. Вызов был на субботу, час дня. Арик, когда узнал про вызов, стал орать на Мину, что она блядь-проблядь, каких свет не видел, Мина ответила ему, пусть убирается на свою вонючую Молдаванку, она всю жизнь прожила с Гершицем и не слышала от него грубого слова. Арик в тот же день напился, как биндюжник, и требовал, чтобы Мина порвала всякую связь с Гершицем, иначе будет море крови. Мина расстегнула кофточку, вынула грудь и сказала, на, бандит, убивай. Арик упал на колени, обхватил ее за ноги и громко заплакал. Мина стояла, как каменная, он терся головой о ее ноги, называл себя подонком, негодяем, а про Гершица, хотя он теперь американец и держит свои доллары в банке, сказал, что он еще в сто раз больше подонок и негодяй, потому что продолжает терзать Мину, у которой есть муж, есть новая семья и своя личная жизнь. Потом Арик утих, было впечатление, что заснул. Мина высвободила свои ноги, взяла его чемодан и вынесла на лестничную площадку. Когда она вернулась, он поднялся, скрестил руки на груди и сказал хриплым, с перепою, голосом: "Паскуда, думаешь, за доллары он сделал себе новый антон длиннее и толще, ошибаешься, падла, а если сделал, так не для тебя — в Америке за доллары свои падлы есть". "Скот, — сказала Мина, — иди проспись, скот!" Прибежала баба Дуня, закричала на Арика: как е...ь, так Мина, Миночка, а как не стоит, так одни грубости, — и сказала, пускай катится до такой матери, и чтоб больше ноги его не было здесь.

На следующий день пришло извещение про посылку. Мина помчалась на почтамт, впопыхах забыла паспорт, пришлось возвращаться. Как назло, не могла вспомнить, куда заложила, из документов с фотографией был только профсоюзный билет. Времени до шести оставались считанные минуты, схватила билет и бегом на Садовую. Успела, что называется, в последнюю секунду, девушка уже приставляла к окошку картон. Мина, заламывая пальцы, объяснила, что только со смены, а завтра еще хуже, полторы смены, та сказала, ладно, убрала картон и протянула руку: давайте. Мина подала извещение, профосюзный билет, девушка машинально взяла и тут же бросила билет обратно: это не документ, давайте паспорт. В первый миг Мина растерялась, ах, она все перепутала, но тут же, придя в себя, возмутилась: "А почему это профсюзный билет, с фотографией, не документ! Взносы платить — так документ, а посылку получить — так не документ!" Девушка сказала: "Не нравится, езжайте в Израиль". Мина закричала, это не из Израиля посылка, это из Америки. Рядом стоял парень, очень приличный на вид, в очках, кто бы мог подумать, и скроил такую рожу, что плюнуть противно: "Людей, ви слышите, она не хочет ув Израиль, она хочет наоборот, ув Америку!" Мина схватила извещение, профбилет, сунула в сумку, посмотрела на парня, покачала головой: ах, как остроумно, — отошла на несколько шагов, крикнула: "Говно собачье!" — и побежала к выходу.

Дома, чтобы поднять немного настроение, съела, сама не заметила как, пол банки болгарского конфитюра. Обругала себя последними словами: во-первых, полбанки — это день-

ги, во-вторых, просто вредно для организма. В журнале "Здоровье" писали, что у тучных людей инфаркт бывает в полтора раза чаще, чем у тощих, кроме того, они живут на несколько лет меньше. Лучшее средство от тучности — растительная диета, особенно бобы. В бобах есть почти все, что человеку нужно: фосфор, кальций, жиры. Мина купила в колхозном ларьке два килограмма фасоли, залила горячей водой, чтобы размягчилась, и поставила на ночь.

С паспортом повторилась прежняя история: паспорта нигде не было, как в воду канул. Проверила в каждом углу все вещи до последней иголки. И вдруг ударило, как молотком по голове: Арик! "Подонок, — закричала Мина,— ты меня не жалеешь, так я тебя буду жалеть, как ты меня!"

На крик прибежала баба Дуня. Глаза были испуганные. Мина, увидев старуху, вдруг расплакалась: и почему люди такие подлые! Баба Дуня спросила: "Чего орешь, как малохольная?" — "Подлец! — прежним голосом закричала Мина,— я пойду к его жене, к его детям и устрою им бенефис на целый мир, чтобы вся Одесса знала, с каким подлецом они живут!" Баба Дуня сказала: "И ты с ним жила". Мина обиделась: "Как вам не стыдно сравнивать, я просто пожалела его". — "Не крути бейцим, — махнула рукой баба Дуня, — говори: чего орешь?" Мина рассказала ей все по порядку: как она пошла на почту, как подала извещение и документ, как девушка швырнула документ обратно, оказалось, годится только паспорт, а паспорт...

"Стой, — перебила баба Дуня, — ты же дала мне паспорт, мамино кольцо и золотую брошку, чтобы я заховала, когда Арик твой перешел до тебя жить: на вид честный, порядочный, а на самом деле, кто его знает".

"Ой! — засмеялась Мина, обняла бабу Дуню, поцеловала, на щеке остался след помады, сама вытерла ладонью и сказала, — я как в воду глядела, такой оказался подлец". — "Мужчины, — сказала баба Дуня, — все подлые. И бабы все подлые. Из одной бочки: сверху немножко меду, а внизу одно дерьмо".

Во рту весь вечер держалось противное чувство сладости. Сколько ни полоскала, не проходило. Мина взяла немного фасоли, бобы еще были твердые, прожевала и запила водой. Сладость во рту прошла, вместо нее появился приятный, как бывало в детстве, когда жуешь траву с прилипшими к корням комочками грунта, привкус сырой земли.

Ночь из-за вчерашних переживаний прошла неважно. То душил кто-то за горло, то садился на грудь, так что не продохнуть, то повязывал руки-ноги, волочил куда-то, от страха язык прилип к небу, и вместо слов, которыми Мина хотела позвать на помощь, получалось одно мычание.

Встала совершенно разбитая. Одна только мысль — про посылку — давала немного сил, чтобы держаться на ногах. На почтамте, как ни рано пришла, оказалось, люди уже ждут. Большинство — евреи. Один мужчина, как будто угадал Минины мысли, сказал: "Два места, где в Одессе еще можно увидеть иудеев — ОВИР и почтамт". По лицу мужчина был похож на русского, на поляка, даже на немца, высокий, блондин, как раз тип, который Мине нравится больше всего. Люди улыбнулись. Мина сказала: "Я, например, здесь первый раз". Мужчина развел руками: "Даст Бог, не последний. Моя фамилия — Шмульянов: ша, эм, ульянов. Сруль Шмульянов". Двое засмеялись. Мина сказала: "Ах, как остроумно!"

Самое смешное, работник, когда принес посылку, громко объявил: Израиль Шмульянов, распишитесь еще раз, чтобы подпись была точно, как в паспорте".

Взяв посылку под мышку, мужчина махнул Мине рукой: шалом!

Люди получали огромные, как коробки из-под обуви чехословацкой фирмы "Шкода"*, ящики. Мина подумала: придется брать такси. Лишние два рубля.

Опасения оказались напрасные. Посылка была размером с дорожную "Аптечку матери и ребенка". Первое желание было просто отказаться, заявить: это — ошибка, это не моя. Но что значит сказать не моя, если Гершиц вывел ее имя и адрес так, как будто для витрины каллиграфии.

До войны в Одессе был известный каллиграф, Крук, у него

Возможно, автор ошибся, в Чехословакии была всемирно известная обувная фирма "Батя", после войны — ЦЕБО(Д.Т.)*

были свои витрины на Дерибасовской, на Ланжероновской, на Ришельевской, люди специально приходили, чтобы посмотреть на это чудо. Гершиц, когда был еще мальчиком, мечтал писать красиво, как мастер каллиграфии Крук.

От обиды, от стыда перед людьми на Мину нашел столбняк, и пришлось дважды повторить ее имя, прежде чем она услышала. Женщина, которая стояла за Миной, сказала своему соседу: "Мал золотник, да дорог". Мина взяла посылку, не поднимая глаз, прошла мимо. На улице, возле детской больницы, на углу Садовой и Петра Великого, вдруг закружилась голова, счастье, что рядом оказался прохожий, успел подхватить. Руки и лицо покрылись потом, как будто выпила в один прием полведра воды. Мина прислонилась к стене, сказала человеку, ничего, спасибо, постояла немного и двинулась.

По дороге, пока дошла домой, схватило снова, на этот раз живот, было ощущение, как будто изнутри вяжут ремнями, хотелось кричать, звать на помощь, но, слава Богу, отпустило, и опять, как в прошлый раз, обдало всю потом.

Баба Дуня сидела на балконе и, едва увидев Мину, помчалась открывать дверь. Первый вопрос, когда Мина ступила через порог, был: а посылка где? Мина отмахнулась, сказала старухе, без вас весело, и пошла в свою комнату. На такие слова в другой раз старуха нашла бы ответ, но посылка из Америки — это посылка из Америки, не каждый день, баба Дуня наказала себе прикусить язык и тихонько, как кот лапой, поскреблась в дверь. Ответа не было, баба Дуня поскреблась еще раз и осторожно прилегла плечом. Дверь заскрипела, но не поддалась. Мина заперла на задвижку, баба Дуня с минуту постояла молча, переминаясь с ноги на ногу, и вдруг закричала: "Бикса, открой двери, а то позову участкового — и тебя геть отсюда в два счета, разом с твоим фраером!" Про участкового и про фрайера слова вырвались сами собой, и баба Дуня тут же пожалела. "Дура старая! — закричала в ответ Мина, — сексотка!" После этого внезапно щелкнула задвижка, распахнулась дверь, и баба Дуня увидела женщину в цыганском, с медными блестками платье, в белой, не то из куриного, не то из другого пера шляпе и зеленых, по

форме как чугунный утюг пяткой наперед, туфлях. Через плечо у женщины был переброшен малиновый шарф.

"Сволочь! — затопала женщина, — подонок! Он думает, что он в Америке, так мы здесь уже не люди! Вор, шестьсот рублей у меня украл! Я себе пальцы за эти шестьсот рублей отбила на машинке, пока заработала! Я заявлю на него в КГБ, я дам его адрес в Нью-Йорке, пусть найдут этого жулика, пусть знает вся Америка, какие подонки туда едут!"

Баба Дуня сказала Мине, давай потише, а то соседи могут услышать, однако та разошлась еще больше, подбежала к окну, чтобы распахнуть настежь, но вдруг схватилась за живот, сделалась белая, как стена, разинула рот, казалось, вот-вот кончится, рухнула на пол и стала кататься из стороны в сторону. Первая мысль у бабы Дуни была, что маточное кровотечение, сказала Мине, пусть немедленно скинет платье, а то запачкает, потом ни надеть, ни продать, но Мина тут же встала на колени, голову вытянула далеко вперед и рыгнула так, что достала бабу Дуню до самого пояса. Баба Дуня сказала, давай еще в эту сторону, юбка своя, постирать можно, стянула у Мины с плеча шарф, та рыгнула опять, счастье, что старуха успела отбросить шарф — среди слизи на полу, как комочки забуревшей крови, темнели дольки непрожеванных бобов. Баба Дуня спросила: "Ты чего, фасоли сырой нажралась? Дура, — сплюнула баба Дуня, — скажи спасибо, что легко отделалась, а то могло разорвать, как бочку".

После рвоты Мина пришла в себя, баба Дуня принесла тряпку, сама вытерла пол и сказала Мине, пусть посидит немного, она заварит чай, от крепкого чая микробы в организме дохнут. Выпили по три стакана, баба Дуня с сахаром, вприкуску. Мина тоже хотела кусочек, но баба Дуня остановила: от сахара пучит и бурчит в животе. Когда кончили пить чай, баба Дуня сказала Мине, нехай встанет и повернется кругом, только без хипиша, она хочет спокойно посмотреть, какой материал и какая мода сейчас в Америке. Материал был хороший, заграничный, а мода, какая сейчас в Америке, бабе Дуне не понравилась. Но, добавила она, каждый по-своему с ума сходит: покупатель найдется. Туфли понравились больше,

старуха примерила на одну ногу, пошлепала до дверей и обратно и сказала: сто рублей на толчке, а если бы пяткой на место носка, сто двадцать — сто тридцать с закрытыми глазами. Глупости, скривилась Мина, сейчас мода как раз на тупой носок.

Через день, когда пришли покупатели, оказалось, что обе были правы: Мина насчет моды, баба Дуня насчет цены. Мина запросила за туфли сто пятьдесят, сошлись на ста тридцати. За платье Мина спросила двести, за шляпу — шестьдесят, за шарф — сорок пять. За платье, сказали покупательницы, сто шестьдесят — царская цена. Мина сказала, сто шестьдесят — это смешно, паршивый индюк стоит на Привозе тридцать пять-сорок. Женщины ушли, но перед уходом просили подержать вещи до послезавтра. Мина ответила, до послезавтра она не может: ей позарез нужны деньги, она и так отдает за полцены. Договорились на завтра, на вечер. Женщины пришли рано утром. Поначалу, когда раздался звонок, у Мины даже екнуло сердце: Арик! Трусы зашвырнула под кровать, потрепала пальцами соски, чтобы сделались тверже, набросила на голое тело халат, поплевала на ладонь, пригладила на ходу волосы и побежала открывать.

"Ах, это вы", — скривилась Мина. "Здрасьте", — сказали женщины и с порога затеяли вчерашнюю канитель. "Слушайте, — возмутилась Мина, — я не барыга, не фарцовщица, чтоб торговаться с вами. Думаете, в Америке даром дают. Эти вещи мой муж заработал потом и кровью: хотите — берите, не хотите — не берите. После вас приходило вчера еще десять человек, умоляли отдать платье за двести двадцать, но я ответила, нет, я обещала другим: слово дороже денег".

"Хорошо, — сказали женщины, — за платье — сто восемьдесят, за шляпу — сорок, за шарф — тридцать". — "За такие копейки, — покрутила рукой Мина, — я могу сама носить эти вещи. Двести шестьдесять — и забирайте, — сказала Мина". — "Нет, — стояли на своем женщины, — двести пятьдесят". — "Противно, — возмутилась Мина, — противно, когда люди такие мелочные: давайте двести пятьдесят — и уходите". Женщины пересчитали деньги, положили на стол и спросили: "Когда вы ждете следующую посылку?" Мина пожала плечами: "Вы же знаете, на таможне крутят, как хотят, приходите через месяц. Завтра я буду говорить с мужем". Женщины спросили: "Кто кого вызывает — он вас или вы его?" Мина ответила, он вызывает. "Ах! — воскликнули женщины, — такие доллары летят на ветер! Гораздо выгоднее платить здесь рублями. Скажите мужу, пусть покупает шубы на Дилэнси, у Коли. Дилэнси — главная улица в Нью-Йорке, где все за полцены".

В субботу, ровно в час дня, Мина была на переговорной. Телефонистка взяла извещение и сказала: "Садитесь, ждите". В два часа Мина подошла к стойке и спросила, в чем дело, почему так долго, вызов из Нью-Йорка, а не откуда-нибудь. Телефонистка повторила свое: "Садитесь, ждите". В три часа Мину позвали через микрофон: "Гершиц, подойдите к стойке". Голос был странный. У Мины все оборвалось внутри, ноги сделались, как ватные: "Боже мой, с ним что-нибудь случилось?" Телефонистка не ответила, случилось или не случилось, а просто сказала: "Нью-Йорк отказался от разговора". Мина поразилась: "Как отказался? Значит, ему плохо!" — "Не знаю, — сказала телефонистка, — отказываются по разным причинам: например, не хотят платить денег за разговор, а главное про вас узнали — раз пришли на станцию, значит здоровы. Больные не приходят".

Телефонистка почти угадала: в последнюю минуту Гершиц решил отказаться от разговора. Собственно, он решил отказаться еще раньше, когда от Мины пришло письмо, где она называла его подлецом и вором, но передумал и решил оставить заказ, чтобы сказать по телефону пару горячих слов, как она заслужила, тем более, что после первой посылки, которая еще не дошла до нее, он уже присматривал вещи для второй — джинсы, кожаную куртку, шубу. Про эту вторую посылку он хотел сказать Мине, что теперь она получит не посылку, а от хера ушки, но опять передумал и решил, что звонить вообще нет смысла, а сэкономленные деньги лучше потратить на себя.

В тот же вечер он вышел на Фордэм-роуд, нашел пуэрториканку, лет пятнадцати-шестнадцати, цена была стандартная, десять долларов, о'кэй, кивнул он, десять, фуд-стэмпами, она сказала, нет, монетой, предложил двенадцать, на двенадцати сошлись. Пуэрториканка, чуть ступила за порог, стала шарить глазами по углам, он подумал, воровка, хочет пристреляться, но оказалось, ошибка.

В спальне, в углу, висел портрет генералиссимуса Сталина, в бронзовой рамке, под рамкой этикетка одесской минеральной воды "Куяльник", начальное "К" было переправлено на "Х". Пуэрториканка обратилась к портрету лицом, опустилась на колено, закрыла глаза, перекрестилась и вмиг скинула джинсы, трусов не было. "Стой, — сказал Гершиц, — одевайся, я сам хочу тебя раздеть". Пуэрториканка замотала головой: за двенадцать баков фуд-стэмпами пусть поищет себе пенсионерку, чтобы раздевать — у пенсионерки есть свободное время, а у нее свободного времени нет, ей надо работать. "Ах ты, сцикуха", — сказал он по-русски и накинул еще три доллара. Нет, замотала головой девушка и дважды выставила руки ладонями вперед: двадцать. Он согнул правую руку в локте, переложил левой и засвистел: а этого не хочешь! Девушка тоже согнула правую руку, переложила левой и сказала: таких старых мудаков она в гробу видала, а если ему нужны цурис, он получит цурис. "Слушай, — поразился он, — ты еврейка?" Нет, сказала девушка, она не еврейка, ее подруга, Сондра, еврейка, из Польши. Сондрина мама предупреждала: не имейте дела с русскими евреями — они все нищие. "Слушай, — еще больше поразился Гершиц, — Сондра — тоже, так как ты, продается мужчинам?" "Идиот, — сказала девушка, — я не продаюсь, я работаю: даешь две десятки или не даешь, а то с тобой наработаешь!"

"Глупышка", — воскликнул Гершиц, схватил девушку за руки и хотел поцеловать, но она тут же оттолкнула его и сказала: "Брось свои штучки, а то, ей-Богу, наживешь себе! Я не могу столько времени с тобой за двадцать баков. Альфрейдо ждет на улице, что я ему скажу?" Гершиц мотнул головой, плевать ему на Альфрейдо, он сейчас вызовет полицию, и

пусть накроют весь шалман. "Стул-пиджин! — закричала девушка, — доносчик, дерьмо, ничего не получишь, давай деньги, а то найдем тебя! Вот, клянусь Христом, найдем!"

Она опять встала на колено, лицом к Сталину, Гершиц подскочил сзади, схватил ее за талию, поднял, притянул к себе и с ходу, аж сам крякнул, врубился. Девушка завопила, вмиг вывернулась и вцепилась ногтями Гершицу в лицо. "Отпусти! — закричал Гершиц, — я нечаянно, я не хотел сюда, я хотел нормально". — "Негодяй, — еще сильнее вонзила свои ногти девушка, — я не смогу сегодня работать: отведи меня к доктору и гони монету за всю ночь, или тебя ждет такое, что во сне не увидишь!" Гершиц сказал, хорошо, он отведет, но сначала надо осмотреть: может, ничего страшного, может, без доктора обойдемся. "Обойдемся, — передразнила девушка,— мне Альфрейдо голову сорвет. Короче — девушка хлопнула в ладони — гони сто баков и отваливай!" Гершиц принес блок фуд-стэмпов и сказал: "Вот, на тридцать шесть долларов, это все, мне целый месяц питаться". Девушка положила блок в сумку, на миг задумалась и махнула рукой: "Ладно, покажи ванную". Она вернулась минут через пять, Гершиц уже хотел в дверь стучать, бросилась на кровать и сразу развела ноги: давай по-быстрому, а то Альфрейдо уже нож точит.

Гершиц двигался, как шатун, взад-вперед, хрипел пуэрториканке в ухо: быстрее! Фэстер! Шнеллер! Под конец он выкрикивал только: "Шнеллер! Шнеллер!" Самое нелепое, вслед за "шнеллер!", как будто кто-то поддразнивал, обязательно выскакивало "ферфлюхтер юде!" — и чем громче кричал Гершиц "шнеллер!", тем назойливее, тем тревожнее было следовавшее за ним "ферфлюхтер юде!"

Внезапно, на самом пике, Гершиц почувствовал боль в спине, из живота, где средостение, поднялась тошнота, грудь обложило холодом и омерзительно, из мрака, из тьмы, как будто не было света, не было дня, выскочило: "Умираю!" Пуэрториканка спросила: "Ты о'кэй?", — и побежала в ванную. Вернувшись, она провела руками по груди, по животу, по бедрам и засмеялась: "Смотри, какая я!" Гершиц сказал: "Мне плохо". Девушка кивнула: "Вижу, хочешь, я вызову скорую.

мне оставаться нельзя — приедет полиция". Гершиц сказал: "Не уходи, мне плохо".

Девушка оделась, вынула из сумки фуд-стэмпы, три талона — один на десять и два по доллару — выдрала, бросила обратно в сумку, остальные Гершицу к ногам, на кровать, сделала, с порога, пальцами бай-бай и хлопнула дверью.

Первые минуты Гершиц лежал неподвижно, боялся шевельнуться, потом протянул руку, пытался достать фуд-стэмпы, но не получилось, полежал еще несколько минут, боль в спине держалась прежняя, однако холод, обложивший грудь, пошел на убыль, местами делалось вдруг горячо, как будто прижигали калеными пятаками, всякий раз, когда появлялось это горячее, Гершицу ударяло в голову: конец! Но через минуту-другую выяснялось, что не конец, и опять возвращались мысли про фуд-стэмпы. В мозгу, хотя страх не отпускал, безостановочно щелкал счетчик: три четверки, четыре тройки, две шестерки — как ни крутилось, все выпадало двенадцать. Дюжина. Дюжина была роковая.

Гершицу было двенадцать, когда умерла мама. В двенадцать Гершица затащила к себе Манька Абцуг и сказала, давай делать, и сделали. Через неделю Маньку исключили из школы, оказалось, у нее триппер, а триппер такая зараза, что обязательно перескочит, потом полгода надо ходить в вендиспансер, на промывание: иглу загоняют в пипчик и ковыряют так, что глаза на лоб лезут.

Всю последнюю четверть Гершиц по десять раз на день отпрашивался с урока, бегал в уборную, скидал штаны, крутил свой пипчик во все стороны и проверял. Иногда пипчик делался красный и капало. Гершиц умирал от страха, но, слава Богу, на другое утро проходило, и сверх десяти раз Гершиц бегал в этот день еще десять, чтобы лишний раз проверить.

В двенадцать, уже не весной, а осенью, после летних каникул, Гершиц сочинил стихи и подложил в портфель Лоре Пивник, которую все звали "мясо". Стихи были такие: "Кто-то бросил на ...й спички, загорелись волоса, громко плакали яички, и рыдала колбаса". Лора показала стихи Фаине Моисеевне, Фаина Моисеевна — директору, директор вызвал папу

и сказал: "Ваш сын сеет заразу, ему не место в школе, ему место в детколонии".

Учитывая тот факт, что Гершиц-папа имел заслуги перед советской властью, как участник гражданской войны, обошлись без детколонии. Ограничились исключением из пионеров, на полгода, с торжественным, перед всем строем, снятием красного галстука. Однако прежде, чем снять галстук, Гершиц перед лицом своих товарищей и всего коллектива дал честное пионерское слово, что никогда в своей жизни больше не будет писать такие стихи, а также не будет употреблять уличные слова, а если он нарушит свою клятву, пусть на его голову падет позор и пусть покарают его по заслугам, невзирая на лица. "Невзирая на лица" — это было уже не про Гершица, а про его папу, который был участник гражданской войны.

Гершиц осторожно согнул левую ногу, пяткой подвинул фуд-стэмпы, теперь можно было достать рукой, ногтем зацепил за скрепку, подтянул еще ближе, захватил двумя пальцами и, как слепой, наощупь стал пересчитывать талоны. Не хватало трех — тех трех, которые выдрала пуэрториканка. В общем, еще повезло, попалась честная девочка, другая на ее месте не только фуд-стэмпы, всю квартиру могла бы вынести. Насчет квартиры пришло в голову просто так, по привычке: кроме телевизора и напольных весов — и то, и другое с гарбиджа — уносить было нечего. Была еще книга "Хрущев вспоминает" на английском языке, как-то принес из читального зала, но кому нужны здесь книги — здесь не Россия, книгу прочитывают и выбрасывают в мусор.

Пошли приятные мысли, стало немного легче, но вспомнилось вдруг про Найану, и опять стало хуже: эти подонки Абрам Розенблат и Лия Мендоза, супервайзер со своей ассистенткой по трудоустройству, лодыри и трепачи, каких свет не видел, каждый день мотают душу и требуют, чтобы он пошел на фабрику детских игрушек, накладывать волосы "мисс Пигги" — очаровательной блондинке со свиным рылом. Один раз, просто, чтоб отцепились, пошел: на конвейере одни нег-

ры, пуэрториканцы и несколько наших идиотов — все из Балты, из Кишинева, из Бельц.

А люди устраиваются: есть болезни, нет болезней — устраиваются. И по восьмой программе за квартиру, и вэлфер, и ЭсЭсАй, и никаких ребе, никакой еврейской общины, все от государства, и мозги у них сохнут только, где бы еще сорвать и куда бы раньше поехать — в Мексику, в Канаду или в Европу. А в сабвей их палкой не загонишь — чтобы я свою белую дупу рядом с этими шахтерами, с этими обезьянами сажал! — только машиной, и на одни мосты; Бруклин, Квинс, Манхаттан, Нью-Джерси, каждый день уходит столько, что целая семья питаться может. А интеллигентный человек, писатель, который здесь не для того, чтобы делать красивую жизнь, который приехал в Америку за свободой,— эти мясники с Привоза, эти гешефтмахеры, они же понимают только свободу делать башли и чтоб ОБХСС не хватал за одно место,— должен на фабрику идти, за копейки, за гроши, уродоваться целый день в компании американских дегенератов, которые не знают дважды два. Боже мой, баба Дуня, темная баба Дуня из Мардаровки, из Хацапетовки — она же Спиноза рядом со всеми этими придурками, которые с утра до вечера ломают себе голову, чего бы еще запихнуть в рот, чтобы не хотелось выплюнуть, а было интересно жевать-сосать. А с бабой Дуней можно сидеть день и ночь, и будет интересно, и никогда не наскучит, и в трудную минуту она придет на помощь скорее, чем свои, евреи. Свои? Смешно сказать, зайди в Найану, посмотри на них, бандиты, каких свет не видел: за теплое место, за пару штанов и лишний золотой ошейник на пересохшую шею сожрут на ланч дюжину своих жидкое и только улыбнутся гуттаперчевыми своими ртами: ну, как вам там, в животиках у нас, дорогие родственнички, братики-сестрички!

Ломота в спине усилилась, опять появилась тошнота, тело сделалось легким, как будто все выпотрошили, внезапно через сердце, насквозь, под самую лопатку, прошла жуткая боль, грудь обложило холодом — на этот раз не просто холодом, а льдом. Гершиц закричал: "Мамочка, я умираю!" И слезы хлынули на обе стороны, затекая в уши.

Гершиц обознался: это была не смерть, это было что-то нехорошее, может быть, очень нехорошее, но это была не смерть. После слез стало заметно легче, опять пошли сторонние мысли, про то, как ловчат, химичат свои, одесситы, — а москвичи, а киевляне, а ленинградцы что, лучше! — и как все, в один голос, твердят: будем жить, как американцы, — I don't care! Наплевать! И все здоровы, как бугаи, и по пять раз за ночь кидают своим женам, а среди дня еще в парлор массаж, на Сорок второй, несут десятку, чтоб мулаточка своими шоколадными губами пощекотала. Подонки, они же сосут эту Америку так, что вместе с выменем готовы проглотить. А больной человек за кусок хлеба должен уродоваться на фабрике с этими антропоидами с Джамэйки, с Тринидада, Гайаны.

Пошли чередой негры, пуэрториканцы — все, как один, с кольцами в ноздрях, с метровыми гребнями, торчком в волосах. Гершиц процедил: дикари, сидели бы у себя на своих вонючих островах и жрали бы свои кокосы. Куда ни ступишь — везде они. В Бюро иммиграции и натурализации, на Федерал-плаза, одни черножопые, тянут своих, откуда только могут. В столице, Вашингтоне, девять из десяти — негры. В Нью-Йорке за один год чуть не полмиллиона понаехало их. И всем плати, и всех корми, а иначе вонь, скулеж на весь мир: сегрегация, геноцид, расизм! На Кони-Айленд — райский уголок, в двух шагах океан, пляжи — белые, в особняках, обнесли себя колючей проволокой, на свои деньги наняли полицию, поставили шлагбаумы: чтоб зайти к себе домой, предъяви документ. А рядом небоскребы, квартиры дуплекс, в два этажа, в какое окно ни высунешься, чайки, океан, бриз, — одни черные. Землячки, одесситы обрадовались: лафа, муниципалитет платит, квартиры такие — ахнешь! И ахнули: получили свое, по морде, — и не на улице, а в лифте, у себя дома. И сорвались на свой Брайтон Бич, пусть халупы, после кони-айлендских дуплексов, пусть три сотни каждый месяц из своего кармана, но, по крайней мере, десять шагов можно сделать, не оглядываясь. Прямо душа болит: такую страну загадили. Как говорит старуха Шпигельмахер: их пустили

в такую страну, а они, где едят, там серут. Гершиц застонал: если бы эти продукты, эти промтовары, эти дуплексы в Россию — при той дисциплине, при том порядке, какой, что бы там ни говорили, держит советская власть, — это же был бы настоящий рай, настоящий коммунизм, о котором люди могут мечтать еще тысячу лет.

Перед глазами встала Одесса: Ришельевская, Дерибасовская, Соборная площадь, бронзовый Воронцов, с изумрудными, по бронзе, потеками, Ланжерон, Аркадия, Золотой Берег, — Боже мой, от одних названий голова идет кругом! Отдали, застонал Гершиц, все отдали, сами отдали, и еще дневали-ночевали под воротами ОВИРа с протянутой рукой: подайте бедному еврею ксиву на святое дело — репатриацию в страну обетованную! Идиоты, Гершиц закрыл лицо руками, где были ваши глаза! Три тысячи лет Ягве футболит вас то носком, то пяткой, а вы кричите: держи мяч! — и невдомек вам, что сами и есть мяч, и никакого другого мяча нет. Идиоты, закричал Гершиц, сами, своими руками отдали, поднесли на блюдечке этим когутам, этим кацапам свою Одессу: нате, держите, нам больше не надо! А оказалось, надо, еще как надо.

Вся проблема в России, чтоб не сохли каждый день мозги, где достать копейку. Если бы нашелся здесь человек, чтобы раз в два месяца высылать пару джинсов, нейлоновую шубу и какую нибудь курточку, под кожу, так не надо иметь кафедру в университете — на все хватит: и выпить, и закусить, и в Ялту, и в Гагры, и в Кижи. А чтоб не цеплялись за тунеядство — хотя кто там цепляется, одни разговоры: Бродского выкинули из Ленинграда, так весь мир, все президенты и конгрессы закудахтали, как будто своих дел нет! — приткнуться куда-нибудь, работенку такую, не бей лежачего, и живи, как хочется. И пиши, раньше писал про своих, про Россию, не печатали, а теперь — про Запад, какой он есть на самом деле, и врать не надо, будут печатать, только успевай. Чалидзе, диссидент, куда дальше, а тоже не дурак: коммунистическим надеждам на полное искоренение преступности в России, может, и не суждено сбыться вполне, но успехи в борьбе с уголовной Россией, как ни крути, как ни верти, а прямая заслуга советской власти. Люди нудятся там, понятия не имеют, какое добро это: спустился в метро, в какой вагон ни сядешь — сиди, не мотай головой, не гадай про каждого курчавого, где у него финяра, за голенищем или за пазухой. При звездах, при луне, вышел на улицу — шагай себе и лузгай семечки, поплевывай в небо. А тут адвокат, американец из армян, правая рука мэра, когда педерасты сына его, двенадцати лет, среди бела дня затащили в подворотню, сам гевалт поднял: какая, бля, у нас свобода, если по этой улице не гуляй, по той не гуляй, а про третью и думать не смей — хорошо, кошельком отделаешься или разодранным анусом.

Вспомнилась ни с того, ни с сего война: в школе все над ним смеялись — четырехглазый! — а очки сделали свое дело, уберегли от фронта, а, может, и от смерти. И во всю войну два главных чувства было: не загреметь на фронт — первое, вернуться в Одессу — второе. Плакат этот — "Мы вернемся!" — хотя был он про другое, надрывал душу.

Вдруг, аж дыхание перехватило, ударило: зачем кто-то, он сам будет посылать в Одессу джинсы, шубы, куртки, туфли! В Америке сотня — в России тысяча, какие пошлины совдепы не врубят, набрать пять тысяч за год — не проблема. Боже мой, чтобы пять тысяч там, при его заработках пять лет надо вкалывать — и то не есть, не пить, зимой-летом с голым задом ходить. Пять тысяч — это же за год машина, а за четыре года двадцать кусков, если по срочному вкладу, три процента годовых — шестьсот рублей. А за такие деньги, полсотни Мина настукает еще на машинке, полгода можно жить, как живет инженер, учитель, врач. И главное — не торчать каждый день с девяти до пяти в шараге, не держать ни перед кем отчета, не бояться, не трястись, как эти мясники с Привоза и деляги с винно-коньячного.

Кто бы поверил: жизнь начинается в пятьдесят! Главное — не болеть, хотя Америка есть Америка: болеть здесь трагедия для тех, кто делает бизнес, а кто не делает, тому, как говорит Сеня Гавиносер с Екатерининской, болезнь — бизнес.

Внезапно, когда, казалось, пошло на лад, — и настроение, и самочувствие — Гершица вырвало. После рвоты не стало луч-

ше, наоборот, стало хуже — в руках, в ногах забегали мурашки, от левой лопатки к локтю, к мизинцу потянулась, как будто по нити, боль. Гершиц взял трубку, хотел набрать номер, но не набрал: за скорую надо платить бешеные деньги. Найана строго предупредила: в Америке не принято вызывать скорую, не принято вызывать врача на дом, только в самом крайнем случае.

Гершиц застегнул брюки, медленно, опираясь на руки, поднялся, все кружилось и плыло перед глазами, минуту посидел неподвижно и встал. Когда закрыл за собой дверь, было мгновение, казалось, вот-вот упадет, такая была слабость в ногах, но не упал, благополучно дошел до лифта. На Кингсбриджроуд остановил кар-сервис — то же такси, но немножко дешевле, шофер попался толковый парень, не стал спрашивать, куда, сам догадался: госпиталь Монтефиори.

В приемном покое, как ни плохо чувствовал себя, велели сначала пройти в регистратуру, дать сведения о себе, чтобы могли заполнить платежный лист, потом повели на весы, сестра приказала, стойте ровно, не качайтесь, наконец, уложили на тележку, сунули в рот термометр и облепили руки, ноги, грудь датчиками. Пришел доктор, посмотрел кардиограмму и дал команду: везти в СиСиЮ — кардиологическую палату. Еще до того, как Гершиц успел спросить, доктор сам сообщил: может быть, сильный спазм, а может быть, инфаркт. Если инфаркт, пока небольшой. Когда Гершиц услышал "инфаркт" и "пока", горло свела судорога, перед глазами пошли зеленые круги, в оба виска застучало: конец!

Первые два дня было неважно, не то, чтобы очень плохо, но неважно: покалывало под лопаткой, тело делалось иногда легким, вроде оставалась одна оболочка, настроение менялось каждую минуту, то в одну, то в другую сторону, моментами хотелось плакать, как будто маленький мальчик, как будто вот-вот зайдет мама, обнимет руками за голову, прижмет к животу — от передника, синий в горошек, запах жареных бычков, все рядом и в то же время бесконечно далеко, прошло и никогда уже не вернется. Гершиц поворачивал голову к окну, накрывался простыней, и слезы, горячие, тяжелые, как ртутные шарики, перекатывались через переносицу. Подходила сестра, клала ладонь на плечо, говорила, укрываться с головой не разрешается, тут же отходила. Гершиц стягивал простыню на подбородок, пальцами прижимал глаза, вроде болели от резкого света, и наказывал себе думать только о хорошем.

На третий день Гершиц написал Мине письмо, насчет почерка объяснил, что руки все в датчиках, оттого каллиграфия не на высоте, а про сердце сообщил, что был сильный спазм или инфаркт, состояние так себе, и приказал: не говорить никому, потому что люди есть люди — кому гадость, а кому радость.

На четвертый день доктор сказал, можно сделать несколько шагов по комнате. До ланча Гершиц не решался, позволил себе только приподняться, опустить ноги на пол. После обеда махнул рукой, будь что будет, прошел от кровати до дверей, от дверей до кровати, подумал, какое это благо, ходить на своих ногах — люди, пока есть здоровье, не понимают, не ценят — взял карандаш, бумагу и написал Мине новое письмо: дело идет к лучшему, если через семь-десять дней не станет хуже, значит, будет жив-здоров. Есть новые идеи, подробности следующим письмом.

Насчет новых идей слова были не пустые: инфаркт или даже просто подозрение на инфаркт — Гершиц сам говорил с людьми в Найане, которые, что называется, не успели сойти с трапа самолета, уже выбивали у американского правительства ЭсЭсАй — пособие по состоянию здоровья. Про свои болячки они привезли справки из России, но американские врачи даже не хотели смотреть и сами делали проверку. Часто случалось, проверка ничего не давала, тогда люди вспоминали старые, еще из России рецепты, глотали такие смеси и настои, что в самом деле можно было загнуться, получали на день проверки гипертонию, тахикардию, вазомоторные расстройства — и госпиталь "Бэйт Исраэль", госпиталь Бельвью и еще десять других госпиталей, подымали руки и сами просили американское правительство: дайте им ЭсЭсАй!

ЭсЭсАй — это, во-первых, квартира для одного человека, как минимум, гостиная, спальня, кухня-столовая, во-вторых,

две сотни наличными, в-третьих, фуд-стэмпы. Если не обжираться, не только на супермаркет хватит, еще пара талонов останется на что-нибудь непредвиденное. Гершиц вспомнил пуэрториканку, в мошонке пошло шевеление — черт возьми, как раз этого сейчас не хватало — переключился на Мину, не очень помогло. Как на зло, вспомнилась молодая, на Военном пляже, в Аркадии — среди бела дня прятались за скалами или просто скидали плавки в воде. Он принимал ее на себя и шагал, как солдат, а она ерзала, норовя насадиться глубже, и хохотала, как полоумная. Люди косились, взгляды были нехорошие, но им было плевать на людей.

Через десять дней доктор сказал Гершицу, не сегодня-завтра выпишем, но, как водится в американских госпиталях, потянули еще десять дней, чтобы выжать за больного до последнего цента.

С ЭсЭсАй большой возни не было: в этот раз Найана была кровно заинтересована, составили все документы в темпе, и на полгода Гершиц был обеспечен. Вспомнился тот день с пуэрториканкой — воистину, не знаешь, где потеряешь, где найдешь! — и пришли на ум тогдашние слова: жизнь начинается в пятьдесят.

Недаром говорят, деньги идут к деньгам. Еще весной Гершиц подал прошение в ПЭН-клуб, сообщил про себя, что, как писатель-диссидент, был занесен в черные списки и по этой причине не имел в СССР доступа к издательствам. Ныне, поскольку начальный период адаптации и болезни, нуждается в помощи. Прислали двести пятьдесят долларов. Гершиц, когда увидел чек, стал в позу боксера и начал молотить кулаками воздух: "Америка России подарила пароход, огромные колеса, да очень тихий ход!"

В ящике ждало письмо от Мины. Во-первых, она продала посылку, получилось так удачно, что сразу погасилось полдолга, во-вторых, она готова плюнуть себе в лицо за помои, которые вылила на него в прошлом письме, в-третьих, она выгнала Арика, ибо поняла, что после Гершица уже ни с кем на свете не сможет жить. Письмо заканчивалось просьбой простить ее, если может, и прислать джинсы, шубу и туфли,

чтобы она могла оставить для себя. В самом низу постскриптум: рост, талия, номер обуви. Отдельно, в дополнение к письму, бумажная вырезка по форме стопы.

Гершиц тут же сел и написал: с вещами для себя пусть потерпит, а сейчас надо все силы бросить на одно — делать сармак. Планы свои Гершиц изложил открытым текстом: пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет.

Самое удивительное — прошло. Когда прибыл от Мины ответ, тоже все открытым текстом, Гершиц сказал себе: советская власть перерождается. Три дня назад он слышал своими ушами, как Людмила Алексеева, среди диссидентов человек с именем, сказала: "По известиям из России, сесть там нынче не так легко". Слова показались ему странными: "По известиям из России". Каким известиям? Куда она клонит? Теперь он был уверен: никуда не клонит, просто излагает факты, как есть.

В свое время, он только приехал, один москвич — познакомились в Риме — сказал ему: хочешь сто баков — полчаса в эфире, треп по душам бывшего советскоподанного со своими компатриотами, томящимися в СССР. Он ответил, хочу, в назначенный день пришел, поднялся лифтом на тридцатый этаж, но, едва открылась дверь, тут же перебрался в другой лифт, который шел вниз. Тогда на душе остался неприятный осадок, а теперь ясно: это было наитие, озарение. Еще один урок: никогда не нужно грызть себя за промахи, за ошибки, ибо никто не может сказать наперед — это правильно, а это неправильно. Человек слеп: из-за каких-нибудь ста долларов вся жизнь могла полететь вверх тормашками. В "Новом Русском Слове", не выдержал, писательский зуд взял свое, напечатал рассказ, как одна старая одесская лярва всю жизнь ходит в заплатанных трико: советскую власть надо бить под дыхало, под седьмое ребро. Ударил, мудак! Слава Богу, хоть достало ума подписаться псевдонимом: Иоанн Эвксинский.

Боже мой, Гершиц схватился за голову: Иоанн Эвксинский! Надо же полным идиотом быть, чтобы так подписаться. Возвращение в Россию, посылки, двадцать лет спокойной жизни — все насмарку. Не только КГБ, последняя Хая с Костец-

кой раскусит с закрытыми глазами: Иоанн — это Ян, а Эвксинский — это с Черного моря, из Одессы. Ян из Одессы. Чем такой псевдоним, уж лучше прямо: своим именем. Тут, если спросят, можно хоть объяснить: газета антисоветская, но рассказ бытовой, потому не боялся, подписался своим именем. А раз под псевдонимом, значит, понимал: газета антисоветская и рассказ антисоветский, а если не антисоветский, зачем псевдонимом прикрываться?

Гершиц бегал вокруг стола, клял себя последними словами, и вдруг озарило: это вообще не газета, это махровый антисоветский листок — не считал возможным печататься под настоящим именем. Да, совесть свою запятнал, но имя осталось незапятнанным.

Довод был железный, он именно так думал, когда принес в редакцию рассказ, но забыл тогдашний ход своих мыслей, а теперь вспомнил. И тот факт, что забыл, лишний раз говорит, действительно, было неприятно, потому забыл. Надо записать, чтобы не забыть опять, а то в Вашингтоне, в посольстве, Добрынин или какой-нибудь хмырь спросит, а он только начнет думать: человек, когда все чистосердечно, не должен думать, ответы сами должны выскакивать из него.

Насчет посылок Гершиц зря опасался: вторая посылка дошла даже быстрее первой — в полтора месяца. Пошлину содрали сумасшедшую, четыреста рублей. Мина поначалу была в ужасе, вдвоем с бабой Дуней поносили большевиков такими словами, что если бы, не приведи Господь, хоть десятую долю при Сталине, так стены услышали бы. Баба Дуня вспомнила, как на Соборной площади один малахольный при людях говорил — в хрущобах квартиры такие, слышно каждого, как ветры пускает, а все равно, помер грузин — стены без ушей стали. Мина махнула рукой, глупости, про четыреста рублей сказала: это, конечно, чересчур, тем более, вещи из Америки, советской власти ничего не стоят, но тут же сама добавила: а с другой стороны, это правильно — с зарплаты же берут налог, чем больше зарплата, тем выше налог, а это, как зарплата. Баба Дуня сначала слушала молча, потом выхватила из ящика шубу, кожаную куртку и затрясла у Мины

перед глазами: халява, чего выступаешь, какая же это зарплата, если в Америке каждому дают, а здесь последнюю шкуру с людей дерешь! Ты ж еще тыщу в карман положишь. Мне за три года пенсии — и то тыщи не будет! Халява!

Слова бабы Дуни были для Мины, как обухом по голове. По материальной линии за всю жизнь старуха плохого слова не сказала, но, видно, так человек устроен: всегда за пазухой держит камень и только ждет момента, когда больше трахнуть.

Гершиц, когда получил письмо, про старуху прямо написал, хватит разводить с ней цуцели-муцели: все свои — до первого милиционера. Насчет того, как хранить деньги, распорядился, чтобы не открывать именной счет в банке, а класть на предъявителя, и объяснил: предвидеть наперед, как обернется дело, нельзя. Хотя по закону тайна вклада гарантируется, однако проверить могут всегда. Мина ответила, что положила на предъявителя еще до того, как Гершиц дал распоряжение из своей Америки, но на самом деле положила на свое имя, потому что, пока Гершиц там, в Америке, он честный и справедливый, а в Союзе, когда вернется и дойдет до расчетов, обязательно пойдут разговоры, что потерял здоровье, что клал голову, что потом и кровью досталась каждая копейка, а ей было здесь одно развлечение и удовольствие: зазывать баб, перекупщиц и точить с ними лясы.

Что Мина положила деньги на предъявителя, Гершиц то верил, то не верил. С утра до вечера голова пухла от мысли, как узнать правду. Про запас, конечно, всегда имелся крайний ход: если Мина начнет ловчить, можно обратиться, куда надо, а там найдут статью — нетрудовые доходы, спекуляция, продажа из-под полы — но какой смысл огород городить, получится, как собака на сене.

Оставалось одно: верить. А чтобы верить, надо любить. В следующем письме Гершиц написал Мине, он не понимает, что с ним творится, но день и ночь все его мысли только о ней. По плану, если все будет идти, как намечено, он должен провести здесь четыре года, но по теперешнему состоянию даже четыре месяца — невыносимая пытка. Если бы ему дали об-

ратную визу, он бы сию минуту плюнул на все и вернулся. Не надо ему никакого сармака, не надо никаких вкладов, никаких процентов, он мечтает только об одном — быть опять с ней и жить, как жили первые годы.

Получилось так, что письмо и новая посылка прибыли в один день: опять шуба, джинсы, туфли, куртка под кожу и какие-то шмутки по мелочам. У Мины, когда она читала письмо, текли по щекам синие слезы, она стирала ребром ладони, ладонь тоже сделалась синяя. Мина тут же села, написала Гершицу всю правду, как обманула его, называла себя последними словами, но обещала, что больше не повторится, и закончила просьбой, пусть не откладывает, пусть немедленно едет в Вашингтон и начинает хлопотать о возвращении на Родину, потому что Родина, как мать, у человека одна — там, где он родился, где отцы и деды поливали землю своей кровью, натрудили на руках, ногах мозоли, матери и бабки стирали во дворе, под краном, закаканные пеленки своих детей, а люди вокруг ходили пьяные от запаха акации.

Письмо Мина отправила заказным, чтобы наверняка дошло, чтобы вручили лично, а не бросали, куда попало.

Раз в неделю Гершиц замешивал тесто для хлеба. Ржаной черный хлеб, какой пекли в России, здесь был по девяносто центов за фунт, и то надо ездить за ним на Ист Бродвей, в Манхаттан, или в Бруклин, туда и обратно еще доллар. В месяц, если даже фунт на два дня, это хороших пятнадцать долларов — полшубы.

Когда постучали, Гершиц как раз начал замешивать, руки были в тесте. Посмотрел в глазок: почтальон. Открыл дверь на длину цепки, вполне достаточно, чтобы просунуть письмо или пакет. Едва воротясь к столу, вскрыл конверт, успел пробежать первые строки и хватил кулаком по столу: ах, сука, ах, хуна, ах, ныкейва! Тут надрывайся, тяни из себя последние жилы, а ей одно — на чужом ...ю в рай выехать! Спекулянтка вонючая, думает, Гершиц в Америке, так уже достать нельзя! Достану, так достану, что сколько осталось жить, на Колыме гнить будешь! В сердцах схватил кусок теста, хотел залепить письмо, глядеть тошно, но успел одуматься, пересилил себя и продолжал читать. Дальше было ничего, даже приятно — дура старая, в крематорий пора, а щебечет, как институтка. Вечные девочки: дай им на зубчик попробовать — с тестисами вырвут.

Дрожжи в Америке продаются такие, что чуть замесил — сразу в печь. Гершиц, однако, делал по старинке, как в России: ставил на день, накрывал полотенцем, пусть разбухнет, как пузо колхозной бабы. Один раз буханка получилась такая, что название само выпеклось: мать-героиня. Прежде не решался писать Мине, не то, чтобы неловко, а как-то странно: в Америке печь хлеб. Теперь подумал, ничего странного, наоборот, пусть знает, в Америке даром ничего не дают, хочешь заработать — работай. Была еще мысль солить селедку — готовая чуть не по доллару за штуку, а так, полтинник пара, вчетверо дешевле, но все как-то руки не доходили. Однако Мине написал: стал мастером по засолке, приеду в Одессу — открою курсы, пусть Муры, Фроси учатся. Еще написал, что целую неделю уродовался в супермаркете — мыл полы, выносил гарбидж, брал ночные дежурства, чтобы заработать лишнюю копейку. В советских газетах правду пишут, что хозяева выжимают последние соки из людей. Про хозяев, которые выжимают последние соки, написал с умыслом: пусть цензура видит, как у него накипело на душе.

Письмо опустил в ящик и тут же отправился на Дилэнси, к Коле. Коля — польский еврей, который имеет свое еврейское имя, но для пользы бизнеса дал назвать себя новым именем, как удобно русским, эмигрантам и морякам загранки, — говорит понемножку на всех языках. Когда люди удивляются и спрашивают: а по-китайски, а как негры из Африки можете, — Коля отмахивается обеими руками, как от пустых глупостей, и отвечает: прошу пана, можем, все можем. В этот раз Коля сказал Гершицу: "Анжелику" не посылайте, на "Анжелику" больше нет моды. "Анжелика" — шуба гладкого меха, приталенная, рукава с оторочкой, капюшон — вошла в моду после картины, где Робер Оссейн и маркиза ангелов Мишель Мерсье. Мода держалась года три. Теперь, сказал Коля, мода

под нутрию и под леопарда. Гершиц взял под нутрию: меньше претензий, элегантнее.

С джинсами тоже получилась морока: "Ли" и "Рэнглер" шли за полцены; за полную цену, две сотни, шли теперь "Ливайс" . В России думают, в Америке всего навалом, куда ни плюнешь, попадешь на нужную вещь, а на самом деле — каблуки собьешь, прежде чем найдешь. Торгаши на Дилэнси тоже в курсе дела и дерут за пару "Ливайс" по двадцать долларов. Гершиц три раза прошел все лавки вдоль и поперек, прежде чем нашел еврея — поговорили о том, о сем, выяснилось: дедушка и бабушка еврея жили на Новорыбной, уехали в погром пятого года — сошлись на семнадцати. На три доллара Гершиц купил ресниц и туши. Ресницы — золотое дно, на доллар здесь в России два червонца навара, но эти советские сволочи дерут впятеро за каждую вещь, которая в дубле.

Была идея, расслоить в коробке картон, вырезать полость и заложить несколько пар, однако пришлось отказаться: во-первых, каким образом дать Мине знать, что ресницы запрессованы в картон, а во-вторых, от этих гитцелей на Одесской таможне можно ждать всего — порвут, порежут и скажут, так и было. Они оттуда видят лучше, чем эти дураки американцы отсюда. Весной вызвали его в ФБР, на Федерал-плаза, сами объяснили, ФБР — это как КГБ в Советском Союзе, и стали спрашивать про подполье в Одессе: национальный состав, евреи, украинцы, русские, имена, в чем заключалась работа, какие использовали методы, легальные, нелегальные. Самое загадочное, на вызове написали: Гуршиц. Пока пришел, пока выяснил в чем дело, провел такую ночь, что только врагам своим. Оказалось, пустая тревога: просто получили данные — откуда, не сказали — что в России подвергался дискриминации, хотели уточнить, по какой причине, по какой линии. Дома вспомнил: сам в посольстве в Риме, в Хиасе, в Джойнте, в Найане давал о себе сведения. Но, с другой стороны, напрашивается вопрос: если сведения поступили оттуда, как получилось, что переврали фамилию? Среди ночи пришла в голову дикая мысль: а вдруг нарочно исказили фамилию, чтобы убедить, ничего, мол, пустяк! А вдруг вообще гебешник сидит под маской ФБР. Что в ФБР полно агентов КГБ, об этом пишут сами американцы и уже навели на него мушку! В Лондоне одного болгарина, диссидента, на автобусной остановке случайно ткнули зонтиком — и нет болгарина. Лучше не вспоминать, не думать, а то сам накличешь.

Посылку в этот раз составил так, что полтора куска с закрытыми глазами. Даже если кинуть пятьсот на пошлину, минимум тысяча пойдет в сармак. Намечал отправить в субботу, в субботу почта до двенадцати, но с утра завозился — белье постирал, тесто замесил. Вчера под вечер — уже закрывали лавку — купил головы карпов, пять фунтов на доллар, лень было возиться с жабрами. Дальше оставлять нельзя было, — пришлось отложить на понедельник.

В понедельник вышел в восемь сорок пять, пятнадцать минут ходьбы, как раз к открытию. Черные и пуэрториканцы, если не жмет работа, только начинают утренний марафон в своих перинах. Черт возьми, живут Родригесы, Гонзалесы так, как в Одессе никакому Рабиновичу-Хаймовичу не снилось!

Ящик был тяжелый, пришлось держать всю дорогу на плече, натрудил так, что спину ломит. Наконец, подошел, прихватил сверху левой рукой, поддал плечом, гекнул, с трудом удержал на весу, посадил на нижнюю ступеньку, чуть самого не потянуло, однако справился, поднял голову и обомлел: забастовка! Буквы, как всегда у них, вкривь и вкось, черные в красном обводе: с понедельника, девяти утра, почтовики Нью-Йорка на забастовке. Другие ставят пикеты, а эти никого, ни души: закрыли — и баста. Гершиц ударил кулаком в дверь, закричал по-русски: "Жулики! Дармоеды!". Пнул ногой ящик, хлопнул себя ладонью по лбу, сел на ступени и заплакал.

Сидел долго, голову положил на колени, подходили люди, спрашивали на сколько забастовка, видимо, принимали за пикетчика, сначала не отвечал, потом стал отвечать: навсегда, до скончания мира. Люди улыбались, Гершиц сводил губы в трубочку, качал головой, про себя думал, боже, какие кретины, в Одессе такие все на Слободке. Потом приободрился, стал объяснять, что забастовка почты — это нарушение зако-

на, потому что почта — государственное учреждение, а служащие государственных учреждений в Америке не имеют права бастовать. Люди реагировали по-разному: одни проходили мимо, как будто не к ним, другие, наоборот, останавливались, слушали внимательно, Гершиц распалялся, доказывал, что забастовка почты — это удар исключительно по рабочим, по служащим, по беднякам, потому что у богатых свои самолеты, свои пароходы, всегда найдут способ переслать письмо, посылку, а рабочий, клерк, бедняк могут только биться головой об стенку. Два черных парня подняли правые руки, сжали в кулак — рот фронт! Потом с боков подошли двое других, тоже черные, схватили Гершица под мышки и сказали, пусть убирается отсюда, пока кости целы. Открылась дверь почты, вышло еще двое, испанцы, с плакатами пикетчиков поперек груди, и сказали двум черным, чтобы не отпускали, они сейчас вызовут полицию, и пусть полиция установит, имеет этот х...с в очках регистрацию на митинг или треплет языком так, без регистрации. Гершиц оборотился к одному, к другому и сказал: "Ребята, у меня только кожа белая, а на самом деле я же негр, как вы!" Оба, как по команде, заворотили Гершицу руки назад: "Негр! Черный с тобой рядом срать не сядет, белая свинья!"

Гершиц хотел объяснить, он сказал негр не в том смысле, как говорят расисты в Америке, он из России, а в России негров любят, "Хижина дяди Тома" — это была его первая книжка в детстве, он, сколько будет жить, не забудет, как погиб Джон Браун, но оборвали на полуслове: подошел испанец, поддал ему коленом под зад, другой завел носок под посылку и поддел так, что вылетела на мостовую. Проезжала машина, ящик ударился о колесо, рикошетом отбросило к столбу и расплющило, как будто слон в бешенстве топтал ногами.

"Бандиты, — закричал Гершиц по-русски, — мы еще придем сюда, танками давить будем, на Аляску загоним, на Колыму!"

Негры подвели Гершица к обочине тротуара, сказали, иди.

сукин сын, собирай свое дерьмо, и предупредили, чтобы не возвращался, а то в самом деле переломают кости.

Вдоль здания почты, на крыше, трепыхался американский флаг, шагали по кругу пикетчики с плакатами на груди: забастовка!

Гершиц собрал вещи — одно название вещи! — хорошо, была при себе веревка, кое-как увязал, когда увязывал, закрыл глаза, чтобы не видеть, так было больно. Всю дорогу как будто кто-то нарочно издевался, в одном ухе гудело "Вставай, проклятьем заклейменный!", в другом — Утесов тянул своим гнусавым голосом: "Под черной кожей еще краснее кровь, еще нежнее сердце, еще сильней любовь!".

Все вещи, за исключением ресниц, годились теперь в утиль. В мусорник. Там, в России, могли бы выправить, положить латку, но в Америке чиненая одежда ломаного гроша не стоит, а советская таможня пропускает только новые вещи, с ярлыками, с чеком.

В этот день Гершиц ненавидел Америку — ненавидел так, как никогда еще и никого за все пятьдесят лет своей жизни. Четыре года, которые по плану он должен был провести здесь, чтобы обеспечить себе лет на двадцать жизнь в России, — это четыре года каторги, хуже Потьмы, хуже Колымы. Пришла в голову мысль: а стоит ли вообще платить такую плату? Вспомнились стихи, какие писал еще в школе, в стенгазету "Орленок": "Лежит за океаном Америка-страна, газет, и безработных, и слез она полна". Идиоты, пока жили там, в России, читали газеты и смеялись: в "Правде" нет известий, в "Известиях" нет правды! Над кем смеялись? Над собой смеялись!

Ночью разболелось сердце, принял таблетку нитроглицерина, в голове застучало так, как будто изнутри шибали под череп молотками. К утру, едва стало светать, такая тоска взяла — хоть накладывай на себя руки. Как объяснить тем, в России: все есть, и жрать, и пить, и надеть, а жить невмоготу и умирать страшно.

Взошло солнце, воробей сел на подоконник, белка вспрыгнула на пожарную лестницу, собаки зашлись в хриплом ут-

рением лае — полегчало, опять захотелось жить. Сотню потерял зря, по глупости. Теперь проблема: заработать. А заработать — надо работать. А отдыхать когда? А писать? А бегать? Доктор сказал, понемногу бегайте, начинайте с сотни ярдов. Слава Богу, довел до трех миль — ничего, мотор тянет. Каждые две недели проверка. Доктор, ирландец из Аризоны, фоняк, как все американцы: можете довести до полумили. Гершиц вздохнул, привел в ответ русскую пословицу: "И хочется, и колется". А скажи доктору правду, завтра же снимет с ЭсЭсАй, потому что главное для них арифметика.

Черт с ней, с этой сотней долларов. Во-первых, можно все брать по сэйлу, во-вторых, плевать на приятно-неприятно, подхарчиться можно из контейнеров. Вчера хозяева рыбной лавки, вонючие евреи, выбросили полдесятка ящиков: глосси, карпы, скумбрия. А днем еще продавали — тот кошер! — днем люди платили полную цену. Идиот, сам, на блюдечке, поднес доллар за полдюжины вонючих голов с жабрами, а через четверть часа — бери хоть пуд, и ни цента!

Забастовка оказалась недолгая: одна неделя. Едва успел собрать новую посылку, гонял по всему Нью-Йорку -— Четырнадцатая, Дилэнси, Боро Парк, Брайтон Бич, Флатбуш — заехал в Нью-Арк, в Джерси-сити. В Нью-Йорке штатный налог восемь процентов, там пять, но, в общем, получилось то на то, полторы сотни ухайдакал, однако есть своя выгода: повидал новые места, еще раз убедился, Америка — хотя говорят, Нью-Йорк не Америка — везде одна: в Нью-Арке после восьми вечера люди, кто без машины, не вылазят из своих квартир. Демократия: никто не запрещает, гуляй, пей, где хочешь, когда хочешь, с кем хочешь, а на деле подпер дверь ломом и смотри, как в тюряге, через глазок, за кем с мешком пришли — за тобой или за соседом.

На почте встретил старых знакомых: испанцев и черного. Испанцы сделали вид, что не узнают, а черный оказался неплохой парень: извинился, что так получилось, посоветовал написать жалобу, просить возмещения за ущерб. Гарантии, что возместят нет, но он, со своей стороны, поддержит. Пока Гершиц заполнял декларацию — среди вопросов по существу

всякая канцелярская дребедень, вернуть или не вернуть посылку, если не будет вручена адресату, откажется, что ли? — надо же найти в России идиота! — опять подошел черный и сказал, те двое, испанцы, грамотные ребята, помогут составить жалобу.

В этот вечер Гершиц сказал себе: "Бедняк бедняка видит издалека. Быть бедным — в этом есть своя сермяга".

Через два месяца почтовое ведомство прислало чек на сто двадцать пять долларов. Гершиц, когда открыл конверт, не поверил своим глазам: не только возместили, но еще добавили четверть сотни! Тут же он помчался в "Чейз Манхаттан Бэнк", на углу Кингсбридж и Джером, против Арсенала, получил по чеку, сел на Лексингтон-экспресс, доехал до Сто шестьдесят первой, стадион "Янки", пересел на "Д" и прямым ходом на Дилэнси, станция "Грэнд-стрит", а там до Коли рукой подать.

Сто двадцать пять долларов, которые прислала почта, были, как находка. Гершиц решил добавить еще полторы сотни и соорудить такую посылку, чтоб она была, как три. После этой (посылки дальше откладывать нельзя — надо ехать в Вашингтон, к Добрынину. Люди с Брайтон Бича, которые знают дело по личному опыту, говорят, пару лет надо стучаться, как минимум. Тут еще одна забота: не дай Бог, кто-нибудь пронюхает! На Брайтоне, в гастрономе-кафе "Москва", одного штымпа из Одессы, Нюмка Хаис, старуха с Молдаванки, сама еврейка, муж цыган, на людях буквально с грязью смешала. Вся морда у Нюмки была в синяках: в минувший уик-энд приложились свои, одесские ребята.

От Мины прибыло письмо: жалуется, что долго нет посылок, приходят люди, она не знает, что отвечать. Может быть, Гершиц передумал, может быть, завел себе миллионершу-еврейку и решил остаться в Америке? Пусть напишет правду, потому что так мучиться она дальше не может: лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Это была прежняя Мина: чуть не так — истерика, ревность и желание знать горькую правду, которая, как ни есть, лучше, чем сладкая ложь.

В ответном письме Гершиц назвал Мину дурой и просил не строить сцен у фонтана, потому что все его мысли только о ней, на других женщин, с тех пор, как приехал в Америку, он даже смотреть не может. Насчет посылок сообщил, что предыдущую, пока шло письмо из Одессы, она уже, наверное, получила, а следующую, пусть наймет МАЗ, чтобы завести с почты домой, он отправляет завтра.

Завтра не получилось. Пришлось потратить еще весь уикэнд. Кое-что прикупил на базарах в синагоге и пресвитерианской церкви — обе в Квинсе. Вещи были почти, как новые, купил полметра ярлыков, налепил, где не хватало, чеки использовал от посылки, с которой попал тогда в переплет, был определенный риск, но при такой посылке игра стоит свеч.

Зюнчик из Бельц — жена лахудра, каких свет не видел, кричала про Гершица, пусть Зюнчик дерет шкуру с этого велфэриста, который барает несчастную Америку и в хвост и в гриву, — помог отнести ящик, подогнал свой "Плимут" и сказал Гершицу: ящик такой — самому можно смотаться в Россию. Гершиц ответил, надо быть идиотом и подонком, чтоб менять Америку на Россию. Зюнчик сказал, не финти, Россия — это Россия, другой не будет. В своих Бельцах, на меховой фабрике, он был первый человек, все в городе кланялись, а здесь каждая собака бежит поперек и серет ему под ноги.

У Гершица внутри натянулось все, как струна: на дохлого рачка берет, мурло бессарабское! Вслух, однако, сказал: на Брайтоне есть тоскуны, ползали в Вашингтоне на карачках, когда вернулись, свои же, с Брайтухи, разрисовали так, что страшно смотреть. Зюнчик сказал, он положил с прибором на всю Брайтуху, на всех одесских жлобов, а если говорить по делу, так побили потому, что внутри, в душе, чувствуют то же самое, но хотят доказать себе наоборот.

Гершиц сказал Зюнчику: "Ребе — вы философ, вы имеете резон".

Три дня, до пятницы, Гершиц чувствовал себя так, как будто вернулись двадцать лет: каждый день пять миль пробежки, по Грэнд Конкорс до Вэн Кортлэнд, вокруг резервуара, девочки из Леман-колледжа трясли навстречу титьками, соски торчали под майками так, что надо иметь железное здоровье, видеть и пробегать мимо.

Утром пришло извещение с почты, в графе "посылка" стоял крестик, в графе "откуда" — СССР.

Был час ланча, очередь, как в России за таулетной бумагой: линия к линии, а вокруг кольцо. Ничего, за час разгрузились. Человек взял извещение, прошел за решетчатую дверь, вернулся и сказал: платить в окне номер три. Гершиц остолбенел: за что платить? Человек сказал, за посылку платить: русские вернули. У Гершица дрожали руки: как вернули! Почему вернули! Человек не ответил, повторил свое: платить в окне номер три. Следующий. "Нет,— закричал Гершиц, — вы обязаны ответить, вы получаете за это деньги!" К стойке подошел рыжий парень в кипе, сказал, давайте в сторонку, не будем мешать, и объяснил: "Вы исчерпали лимит, вы посылали шубы, джинсы, туфли, все посылают, не вы первый, не вы последний. Сегодня двое ваших тоже получили обратно. И тоже возмущались. Вы что, не знаете, с кем вы имеете дело?"

"Бандиты, — закричал Гершиц, — откуда я мог знать! Три дня назад я отправил еще посылку: она тоже вернется?" — "Вернется, — сказал парень, — не надо переживать". Не надо переживать? У Гершица перехватило дыхание."Что я буду делать с этими тряпками, кому они здесь нужны, а там люди пухнут с голоду! Куда смотрит ваш президент, куда смотрит конгресс! Вам устроили Вьетнам, вам устраивают Афганистан, а вы посылаете им заводы, посылаете хлеб: нате, Ванюшки, жрите, чтоб набрались силы, чтоб могли дойти до Нью-Йорка, до Вашингтона, чтоб могли давить нас танками, чтоб загнали на Аляску, на Колыму! Вам мало, что Хомейни плюет в лицо, вам мало заложников! Но Россия не Иран, я говорю вам: Россия не Иран! Я новый американец, мне стыдно, мне больно за вас: опомнитесь, возьмите себя в руки, а то будет поздно. Будет поздно! Ванюшки идут!"

В тот же день Гершиц достал через знакомых телефонные книги Тель-Авива и Хайфы, посидел вечер и наутро отпра-

вил письмо Мине: "Твоя родная сестра из Хайфы, которая выехала с первым мужем твоей мамы, когда тебе было полтора года, высылает тебе вызов. Оформление вызова потребует расходов, я помогу: говорят, доллар в Израиле хорошо идет. Не откладывай на последний день, начинай готовиться, как только получишь письмо: возьми, для начала это очень важно, у врачей все справки про болезни, оригиналы могут не разрешить, сделай копии. У фтизиатра и психиатра не надо. Когда я уезжал, у тебя был миокардит. Сделай новую кардиограмму, на всякий случай сними копию. Миокардит в Израиле хорошо лечат, обязательно дают бесплатную квартиру, если хочешь, на берегу океана. В Нью-Йорке тоже есть такие места: Канарси, Фарракэвэй и ЭсЭсАй, в Израиле они называют как-то по-своему. В России делать больше нечего: там все, как было, так еще тысячу лет будет. А если будет по-другому, так не для нас. Шалом!"

Руфь ЗЕРНОВА

ЭЛИЗАБЕТ АРДЕН

В сорок восьмом году мы разбогатели.

Мой муж, редактор ленинградского издательства, чудом получил полставки в Педагогическом институте. Механизм этого чуда мне и сейчас неизвестен; помню только в телефоне вкусный голос:

— Касторский моя фамилия. Да-да, правильно: Касторский. Так передайте ему, что полставки я ему устроил.

Вот так сбываются мечты. Я мечтала о бюджете в три тысячи /около трехсот рублей по-нынешнему/ как о вершине благополучия. В издательстве муж получал тысячу двести. Полставки в институте — тысяча пятьсот, потому что муж был кандидат наук, — все решали. Читать он должен был что-то ему совершенно неинтересное, но — полставки! Остальные триста дорабатывала я — машинкой, рецензиями, переводами. Те самые триста рублей, которые мы платили нашей Симоновне, нашей бабушке Тасе, нашей няне-кухарке-домработнице. Словом, члену семьи. Так когда-то говорилось про мою собственную няню. Только Симоновна у нас не жила — она жила

с дочкой, Шуркой-кочегаркой, "в опчежитии на Крестовским". Но иногда она оставалась у нас ночевать на железной гостевой кровати, с сеткой, провисавшей как гамак, и когда мы приходили домой из гостей и, не зажигая света, сразу валились на нашу уже постеленную тахту, в уютные углубления между строптивыми пружинами, я с неизъяснимым наслаждением еще несколько минут слушала ее похрапывание, на фоне тихого дыхания детей. Это похрапывание вселяло спокойствие: можно спать, спать, если кто из детей заплачет — она встанет, позовет — она ответит; утром она поднимет их тихонько и вынесет на кухню... Дивные, незабываемые ночи.

Когда мы разбогатели, мы стали оставлять Симоновну ночевать каждую неделю — теперь мы могли это себе позволить. Кроме того, я заказала себе в ателье пальто: верх был старый, но мех новый — рыжий опоссум! И дочке была обнова — шапочка, шарф и кашне, попросили приятеля привезти из Таллина. И отпраздновали пятилетие нашей свадьбы, даже фазанов выставили, поскольку фазаны в ту осень были не дороже кур. И я пошла к косметичке.

С косметичками я стала иметь дело с девятнадцати лет по причине веснушек, которые с детства считала чем-то вроде Каиновой печати. Борьба с веснушками была долгой, изнурительной и безнадежной: бывало, они отступали, но потом неизменно вылезали снова. Косметички твердили: какая у вас сухая кожа! — и предлагали питательные кремы, яичные маски, глубокое шелушение... За последние пять лет, посвященные примитивной борьбе за существование, я все это забросила, но теперь ввиду наконец состоявшегося разбогатения!.. Правда, мы еще оставались должны три тысячи нашему другу, у него была полная ставка и не было детей. Но он не торопил, и вообще сказал, что это теперь, после реформы, уже не три тысячи, а триста. Мы сказали: ни за что! — и попросили подождать до весны. Словом, я пошла к косметичке!

Пошла не куда-нибудь — в Европейскую!

Это теперь около Европейской околачиваются хорошо и по сезону одетые сотрудники госбезопасности, потому что там останавливаются исключительно иностранцы. А тогда там, по-моему, останавливались наши командировочные из Москвы, да члены Союза писателей, даже не самые руководящие. И я вошла, и никто меня не остановил, и я нашла косметический кабинет, на втором этаже.

Косметичка выглядела, как реклама. У нее была белая, плотная и тугая кожа, просвечивающая розовым на круглых скулах. Пониже скул были ямки, повыше — широко раскрытые голубые глаза, выражавшие спокойную радость жизни. Когда мы оказались в одной физической плоскости — она наклонилась над моим креслом, рассматривая кожу, которую ей предстояло "лечить" — на меня снизошло непривычное ощущение бестревожного покоя; вечная зажатость отпустила, сосуды расширились, мне стало тепло, как озими под снегом.

Я стала ходить сюда три раза в неделю. И каждый раз, когда я усаживалась в кресло, похожее на зубоврачебное, и бело-розовая косметичка наклонялась надо мной — а пахло от нее кремом, свежим, как сливки,— покойное тепло обволакивало меня, как одеяло.

— Вы знайт, скольльлько мне льет? — спрашивала она.

И кончик языка в темно-розовой глубине ее рта дрожал: лльлль...

Нет, я не знала, сколько ей лет, и другая клиентка, похожая на тощую фараонову корову, не знала тоже.

— Шестдесьят! — говорила она радостно. — Никто не вьерит!

Я тоже не верила. И теперь не верю. Ну да, шестьдесят! Даже Екатерина Вторая в этом возрасте казалась старой помещицей. Нет, ей, вероятно, было сорок с чем-нибудь, но она набавляла себе годы для рекламы. Запад!

Она была "западная". Похожая на немку, но не немка. /Немцы — не военнопленные, просто немцы, — правда, уже появились на ленинградских улицах, но то были мужчины. Говорили — инженеры, с заводов Цейса. А женщину за все время я видела только одну — военнопленную, двухметрового роста; потом, когда по Ленинграду ветром пронесся слух о поимке какой-то лесной бабы, что ела партизан, и весь Ленинград бегом бежал в Зоосад, чтобы на нее посмотреть — она

мне представлялась в виде той немки: двухметровый рост и мужская немецкая форма./

Вероятно, она была из Прибалтики, из Таллина или Риги. Может быть — вернулась туда после войны откуда-нибудь из Штатов? Иначе — почему у нее могли быть препараты Элизабет Арден? Никакая, никакая заграничная косметика, сколько я себя помнила, на территории Советского Союза /не считая новых окраин, появившихся после 39-го года/ официально не продавалась. Что-то где-то было в годы нэпа /помню слово "лориганкоти" и, по-моему, у писателей-попутчиков было это слово черным по белому отражено/, но это было еще мамино время, очень-очень короткое время, даже *по* моему тогдашнему ощущению. Одно из первых моих детских воспоминаний — синяя фаянсовая мисочка с разводами и в ней макароны, которые я называла "паек" /я долго думала, что это и есть их название/; потом я, школьница, стою с няней в очереди за макаронами — опять-таки за пайком. А все это мамино время с лориганкоти и кондитерскими как раз умещалось между этими двумя недалекими друг от друга воспоминаниями.

Совершенно не могу вспомнить, как звали эту западную косметичку. Как ни стараюсь — не могу. Потому что про себя я так ее и назвала — Элизабет Арден. И тогда и потом, много лет. Эти два слова — Элизабет Арден — музыкальные, мелодичные слова — были выпечатаны, вычеканены на баночках, бутылочках, коробочках. И на розовых, шершавых, глянцевитых, невероятно заграничных коробках с пудрой, которые застегивались на огромную кнопку, застегивались безотказно, с легким победным щелканьем, неизменно вызывавшим из каких-то младенческих глубин веселое чувство торжества человека над механической стихией.

Элизабет Арден мягко и густо накладывала крем на мое отощавшее лицо — питательная маска; изголовье кресла отклонялось, и я с удовольствием смотрела на чистый, ровный, прекрасно выбеленный потолок — редкость в послевоенном Ленинграде. Можно было закрыть глаза, слушать, как под журчание воды в умывальнике питательная-спасительная

маска прирастает к коже; можно было скосить глаза и разглядывать "тощую корову", которая безгласно и безропотно сидела рядом на стуле, желтая от маски, вытаращив остановившиеся глаза...

В комнате то и дело раздавались мужские голоса. Электрик осведомлялся, как работает привод; мастер спрашивал, все ли в порядке с утюжком; водопроводчик тоже чем-то интересовался. Элизабет Арден смеялась: все было хорошо, прекрасно; мужчины топтались, не уходили. Заходило начальство /серый костюм, пятьдесят второй размер, четвертый рост/ — проверить, расспросить, поддержать морально. Косметичка спросила, почему уволили кастеляншу с этажа, начальство бархатным голосом возразило:

— Ну, разве вы этим должны интересоваться? Вы должны интересоваться, когда мы вечер устроим, мужчин интересных пригласим!

По всем классическим, пристлиевским канонам, где-нибудь на Западе она была бы шпионка: иностранка, красавица, косметичка... Шпионка, которую соответствующие органы давно уже заподозрили и водят на крючке, как крупную рыбу. Но то в романах. А на самом деле никакая она не шпионка, просто дура: прибыла сюда из своей Прибалтики и думает, наверное, что здесь все как у людей, раз есть женщины. Да. А ведь ей все равно не сдобровать, уж слишком она выделяется, все равно ее объявят шпионкой, этого не миновать, даже я вижу безысходность ее положения, и "тощая корова", наверное, тоже, потому и глаза таращит. Это как в театре, когда смотришь знакомую пьесу, только актеры новые — в этом и весь интерес.

Она сушила, гладила и трепала мою кожу, словно то была не кожа, а конопля. Я — становилась коноплей. Но стоило ей отойти — опять попадала в детективную пьесу. Пьеса идет, давно уже идет, ты еще за кулисами, но скоро твой выход. А там — и мой. Никуда не денешься. Всем нам предстоит этот час, как смерть. Говорить об этом не принято, да и не следует — чего тут говорить, раз не избежать?

А вдруг — удастся избежать? Ну, кто мы такие? Беспартийные, и место у мужа такое незавидное, и дети у нас маленькие, и вообще... И вообще, мы со многим согласны, мы во время войны даже со всем были согласны, и Сталина признаем великим — что уж тут говорить, конечно, признаем. Кто теперь, после войны, не признает? Вот только насчет безродных космополитов... И раскрытия псевдонимов... И когда-то я отказалась сотрудничать с НКВД — но это когда было, еще до войны! И кому-то я сказала про Ленина: второстепенный журналист, и он испугался... И еще кому-то — "побежденный диктует победителю свои законы" — да, но это я у Фейхтвангера вычитала. — Да, вычитала, но вспомни повод, по которому ты это говорила... И однокурсник, провожая, вдруг так деловито осведомился — "что ты думаешь насчет падения Жукова?"— словно задание выполнял. И тут-то я не подкачала, тут-то я ему наотрез: да ничего не думаю, думаю про то, где бы сыну валенки купить. — Да, но раньше-то, раньше-то, мы ведь с этим однокурсником были неразлейвода, о чем только ни говорили... Да нет, это все страхи, пустые страхи, ночные страхи, потому что нам так хорошо, так благополучно, так счастливо, так богато живется. Наш дом, наша комната шестнадцать квадратных метров стала полной чашей: три кровати, тахта, письменный стол, и главное— совершенно целый, купленный за шестьсот рублей ореховый шкаф с выдвижными полками. И немецкие занавеси я купила в Гостином — восемь часов отстояла в очереди, но зато какие занавеси! И книги — мы теперь можем даже покупать книги, полка стоит на нашей коммунальной кухне, и там даже есть место. И молоко для детей всегда есть, и иногда даже мандарины, "попопамы", как их называют дети, потому что мы им даем мандарину пополам. И моя шуба! И Элизабет Арден!!

Элизабет Арден. Мне страстно хотелось коробку пудры — глянцевитую, с кнопкой-застежкой. Пудра была не белая, и не розовая, и не Рашель, а какая-то совсем другая, цвета фильдеперсовых чулок маминых в годы нэпа; цвета изобилия — так много было этих чулок у мамы, они все лежали в одном узле: она их бросала в этот узел, если спускалась стрелка. Они

были такие нежные. Я натягивала чулок на руку и разглядывала. В начале тридцатых годов я их стала потихоньку носить — под длинной юбкой не было видно стрелок, особенно если зашить аккуратно. Их хватило мне до семнадцати лет, тех чулок.

Для того, чтобы заполучить розовую коробочку, надо было пройти "полный курс лечения". Десять сеансов по тридцать рублей, плата вперед. Только после этого коробка перейдет ко мне — как награда, как премия, как выслуга лет.

Я выслуживала исправно. Запрокидывала голову в зубоврачебном кресле, вдыхала сливочный запах пальцев и декольте Элизабет Арден и слушала ее журчащие поучения.

— Хмуриться нельзя, — говорила она, улыбаясь, и выговаривая "т" с мягким знаком. — Лицо всегда должно быть спокойное.

— А если на душе кошки? — спрашивала тощая, поднимая страдальческие глаза.

— Что значит — кошки? Такой выражений?

— Что значит — буря? — спрашивал меня двухлетний сын. Он сразу ухватывался за подлежащее, как за быковы рога. "Мглою небо кроет" его не зацепляло. — А к нам буря не придет? Ни за что не придет?

Буря не приходила, но в два часа ночи он все равно просыпался с воплем, утверждая, что у него под кроватью собака, или корова, или еще какое-нибудь дачное впечатление, которое в городской квартире оживало, как ночной страх.

— В няньки я к тебе взяла ветра, солнце и орла, — выпевала я, гуляя по темной комнате с ним на руках. Он примащивался поудобнее и тяжелел. Потом открывал совершенно ясные глаза и спрашивал деловито:

— А где этот — ветер?

Дочь отвечала ему с постели свежим утренним голосом:

— Он в трубе живет, бабушка Тася сказала. И там воет.

К трем часам они затихали — иногда даже до восьми. В десять приходила Симоновна, и я становилась свободна, как тот ветер в трубе, и проникалась нежной и восхищенной любовью к своим прекрасным, развитым, необыкновенно интересным

детям. Но жизнь требовала производительной деятельности — я садилась перепечатывать на машинке огромную, тысячестраничную рукопись опального академика, который перевел чуть не всю древнекитайскую поэзию размером "Мцыри". Работа была нетрудная, даже веселая, грустно было только, что деньги я уже получила авансом.

А если оставалось время, я писала роман о своих одноклассниках, Додике и Дусе. Идея романа, и сюжет, и фабула — все у меня было. Любовь двух школьников, потом его измена, потом возрождение этой любви перед войной и война. Здесь должны были быть вечные вещи — любовь и верность, и смерть. И преходящие вещи — война, измены, предательства, фашизм. Антисемитизм.

У нашего друга — у того самого, которому мы задолжали триста рублей — была тетя Маня, которая не верила в клептоманию. "Почему нет такой болезни — прийти и принести? — спрашивала она. — Почему есть такая болезнь прийти и взять?" Некоторые мои ровесники вот так не верили в антисемитизм. Как самые простодушные атеисты не верят в Бога: — а что, ты его когда-нибудь видел?

Раз не видели — значит, его и не было. Конечно, когда-то там, где-то там, до нашего рождения, т. е. почти никогда. Но теперь? Смешно!

Я, про себя, подозревала, что все, о чем пишут в книгах, бывает в жизни. И поэтому ждала, с самого детства, любви и войны, Парижских бульваров /где крошка Лиза продает весенние фиалки/ и раздела Польши, ужасных родовых мук и дворцовых переворотов. Только насчет царя я раз навсегда поняла, что его нет и не будет — к огромному моему сожалению, ибо воспиталась я на книжках начала века, на русской патриотической литературе для детей /"А знаете ли вы, дети, что наша страна — тоже царство-государство?"/.

В общем, всего я ждала, и потом узнавала в лицо, с изумлением и перехватом дыхания, но узнавала.

И антисемитизм узнала. Не сразу — потому что он подползал — или восставал — постепенно. Нам потом казалось, что первые сигналы звякнули в тридцать девятом, когда заключили пакт /вот когда мы и узнали в лицо раздел Польши/, — а старые одесситы — ох, уж эти мне старые одесситы! — уже в самом начале тридцатых сложили библейский анекдот:

— Какое сходство между Моисеем и Сталиным?

— Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин — из ЦК.

Мы, одесские подростки, знали этот анекдот, конечно, но до того ли нам было? У нас — наконец-то! — Начиналась юность, с романами и сплетнями, с поцелуями /в одно касание!/, с танцами /слоуфокс и танго: "Цигойнер, ду хаст майн херц гештолен!", "Вшистко мне едно!"/. В Одессе юность — пора долгая: она начинается лет в двенадцать и потом все длится, длится; к пятнадцати годам все уже накопили воспоминания, разочарования и опавшие лепестки первого жизненного цвета... О неличном не разговаривали. Во всяком случае до тридцать седьмого. Было обще-одесское естественное согласие с формулой: вот что наделали эти бандиты Маркс и Энгельс. Но об этом не думалось — потому что не говорилось.

Разные другие Одессы шевелились, дышали, иногда — таились рядом с нами. На Соборной площади, когда Собор был не взорван, торговала книгами крошечная неопрятная большеглазая старуха: раз я услышала, что она разговаривала с покупательницей по-французски. Я тоже заговорила с ней по-французски — очень заманчива была эта неизвестная, тайная, прошлая Одесса, и она к ней принадлежала. Ее фамилия была Ренненкампф, она показывала маленькие фотографии: она, Ида Рубинштейн и Д'Аннунцио — Венеция, гондолы и огромные шляпы. "Она не была красивая, — говорила она об Иде, — но она была тоненькая-тоненькая /фин-фин-фин!/". По ее рассказу я потом узнала Иду на портрете Серова. "Я очень верующая, — говорила старуха. — И Господь, я знаю, воздаст мне за все, чего я здесь лишилась." Она была католичка, из еврейской семьи.

Эти несколько лет юности, когда бродят весенние соки... В этом неправильность в человеческой цивилизации — несколько лет весны, сплошной весны — как их выдержать и не свихнуться? Хорошо у зверей — весна кончается, а потом идет размножение, сразу же... Ни о чем не было мыслей, и вообще не

до того было — важно было, кто посмотрел, и как, и "он сказал — она сказала", и — ах! — руки, губы, взгляды, ну, в общем, вы сами помните... Когда Додик стоял у доски, пристраивая хромую ногу /несколько лет назад неудачно прыгнул с лодки, а там был подводный камень/, Дуся не смотрела на него — опускала глаза, только слушала, превращалась в слух. Он тогда ухаживал за хорошенькой и неясной нам белокурой девочкой из восьмого класса — потом он несколько лет с ней жил, но когда пришли немцы, там все сразу кончилось, осталась только Дуся. Он погиб. Дуся сказала мне:

— Не пиши об этом, как еврейка.

Я хотела бы написать об этом, как Вера Панова, легко, иронично, спокойно по отношению к сексуальным эмоциям. Но слова не слушались, все время лезли "прядки", "единственные взгляды, которые выражали так много"... И мысли об этом самом еврейском, которого не надо, нельзя, бестактно — не по цензурным соображениям, а по другим, важным, общечеловеческим...

Между тем мы в тот год только об этом и говорили — об еврействе.

Мы и раньше о нем говорили, всегда говорили — шутливо, совершенно не тревожась, во всяком случае, в области сознаваемой. У каждого, конечно, были свои сигналы-щелчки, предупредительные щелчки, вроде тех, которые раздаются в телефоне вашем, когда он подключен и прослушивается, щелчки-напоминания. У меня они щелкали в сороковом году несколько раз, но всего громче, когда я разговаривала с еврейской семьей /папа, мама, девочка Рут/, перебирающейся из Средней Европы в Швецию. В Москве я их встретила, в гостинице "Савой", и разговорились: вот, они едут в Швецию, потому что Рут такая способная, ей надо... Я спросила: "Рут? А что, вы евреи?" — "Да", — сказала женщина, высокая, стройная, очень европейская женщина, и покраснела. Это был щелчок, который я истолковала — вот, они краснеют, вот до чего их т а м довели. И на фоне сознания был Фейхтвангер, "Семья Оппенгейм" и "Экзиль", и только там это возможно, нет, все-таки мы должны быть благодарны, ну и что, что могут арестовать, все-таки этого нет, не краснеем... Помню жадное любопытство свое к этой женщине, и к другим подобным, видимо, богатым, которые проходили через эту гостиницу "Савой", пробираясь в Швецию, в Америку /для этих Швеция слишком близко/, потому что через них, через их естество проходила, осуществлялась история литературы, история религии, история средних веков, в общем — История...

Конечно, мы не краснели. Помню, на первом курсе мы шутливо себя называли "нацбол". Не нацмены, а наоборот — нацбол. На нашем факультете мы, пожалуй, и были — нацбол. И в каждой среде, каждом узком социуме, где я оказывалась до самого тридцать восьмого года, до Испании, так оно и бывало. Да и в Испании мы, переводчики, тоже были своеобразный "нацбол" — но мы обслуживали других, настоящих, которых разглядывали с недоумением. Мы понимали, что они важнее нас, но изумлялись их чуждости, их гуманитарной необразованности, их темноте /тогда еще не говорили "серость"/. Теперь я думаю, что мы, девочки, захвачены были врасплох неожиданным фактом своей сексуальной привлекательности для этих людей, таких взрослых; но главное удивление все-таки было — непохожи. Даже испанцы казались нам более похожими, сквозь чужие обычаи, повадки и, конечно, язык, законно чужой язык, а не тот язык, где слова были вроде бы знакомые, и только семантика чужая, на котором и говорили наши "консехерос".

Нет, мы не краснели; просто нам ужасно хотелось бы быть русскими, и иногда мы принимали желаемое за сущее, особенно за границей. Там-то мы были русскими! Мы были русскими женщинами в Испании /хотя имена у нас, у девочек, были как на подбор библейские!/, а наши мальчики были русскими в Германии, когда вошли туда победителями. Наши мальчики, вчерашние студенты и аспиранты, германисты... Наши мальчики, германисты, гуманисты, всерьез считавшие, что пленных нельзя бить и безоружному населению побежденной страны нельзя мстить, поплатившиеся за свое вненациональное, наднациональное милосердие, иногда довольно серьезно — почитайте книгу Льва Копелева.

Потом они, наши мальчики, вернувшиеся с победой в Ленинград, собрались приступить к мирной жизни с того рубежа, на котором она была прервана. С аспирантуры, например. И оказалось — нельзя.

Одного помню больше всех: начал войну солдатом, кончил майором, начал войну комсомольцем, кончил коммунистом, начал юношей, кончил взрослым, серьезным, все повидавшим мужчиной. Студенческое его прозвище было: Энтузиаст. Нет, слишком много подробностей и историй о нем сейчас вспоминается, мы все были в него влюблены немножко, он был всем нам помилу хорош, и простодушие в нем было какое-то пленительное. В Германии, среди побежденного народа, он тоже был таким, всем мил, потому что всегда был самому себе равен. И вдруг оказалось, что ему в аспирантуру обратно — нельзя.

У него обиды, помню, не было — было недоумение. А у нас, у остальных, было даже что-то вроде злорадства /"а не будь, не будь таким энтузиастом!"/, вроде торжества /"я всегда говорил!"/, но главное — главное было: вот оно! Вот оно! Вот оно, в лицо узнаем, теперь не скажешь, что его нет. Антисемитизм. Государственный антисемитизм.

Когда мы узнали его — мы назвали его по имени, что было опасно.

Дети в детских садах, в начальных школах жалуются: он на меня обзывается! Воры рычат, с пеной у рта: он меня, такой-то, падлой обозвал. Не любит Калибан узнавать свое лицо даже в кличке. Кличка, название, имя. У древних народов были, кроме кличек, тайные, только родителям и жрецам ведомые имена. Ибо назвать — это познать. А познание — ну, сами помните, кто первый счел познание опасным.

Но восторг познания? Восторг узнавания? Вот же, это он, нам такой знакомый по Фейхтвангеру, по Эренбургу, по газетным статьям, вот он, всем понятный, государственный. Вот оно что: побежденные диктуют победителям свои законы! И мы в восторге ужасались, и только об этом и говорили, и острили, и шутили над нашим другом-энтузиастом, и над другими. Над двумя братьями, университетскими профессорами, один из которых был записан евреем, а другой русским; ректор вызвал старшего и в сердцах /ректор был человек горячий!/ сказал: "Да наведите вы, наконец, порядок в своем семействе." Над профессором, который говорил: "Какой я еврей? Я воспитан на Пушкине...". Ему посоветовали: "А вы так и пишите в анкете — еврей, воспитанный на Пушкине!". Над Рабиновичем /Ивановым по матери/ который поступал на службу в Публичную библиотеку как русский — и которому раздраженный кадровик сказал: "Да с такой фамилией я уж лучше еврея возьму!". И много-много, и всего припомнить не было сил! Был в этом некий восторг—страх; обычный, обязательный, всю жизнь сопровождающий, классовый, обывательский, описанный Афиногеновым, страх принимал новую форму.

Но не об этом же было писать в романе про школьную любовь и войну. Не про этот восторженный страх.

Мне хотелось писать про утро любви, которое, как было известно моему и предшествующему поколению, только одно и хорошо; из моих молодых современников это помнят только специалисты-литературоведы /Надсон все-таки вышел в малой серии/. Про гетто и гибель — потом, потом...

Но и утро любви не получалось — не хватало профессионализма и времени. Надо было печатать китайскую поэзию и через день ходить к Элизабет Арден, по ночам петь про солнце, ветра и орла, а по вечерам...

Пожалуй, каждый вечер или почти каждый вечер к нам приходил наш друг, тот самый, который дал нам в долг триста рублей; кандидатская ставка была не только у него, но и у его жены, и они только еще ждали ребенка. Он приезжал к нам на трамвае, по-тогдашнему считалось, что жил он далеко: это было еще до метро, когда Автово, Охта, Васильевский были дальними границами Ленинграда; тем не менее он приезжал каждый вечер — или почти — и мы разговаривали. Втроем. Он родился и вырос в Одессе и остался на всю жизнь одесситом, как Жаботинский, не стесняясь, не изменяя, не предавая, веруя, что Одесский городской театр второй в мире /о первом одесситы до сих пор спорят/, а уж одесские девоч-

ки!.. Жена у него была одесситка, конечно. Он был член парти. И марксист.

И ум у него был строгий. Он был ученый-филолог ленинградского толка, то есть академический, не падкий на финтифлюшки. Но Одесса заострила этот академический ум. И одесская ирония его погубила. Не чувство юмора — с этим еще можно было бы прожить. Но ирония. "Не русское чувство". В самом начале пятидесятых московская учительница говорила мальчику, фамилия которого звучала для нее подозрительно:

— Чему ты так иронически улыбаешься, Визен? Ирония — не русское чувство.

Ирония родила его лучшее произведение.

В 1948 году, когда в стране даже анекдотов не стало, он сочинил песню. На мотив "Стаканчиков граненых".

Стою себе на месте,
Держуся за карман,
И вдруг ко мне подходит
Незнакомый мне граждан-
ин. Он говорит мне тихо:
"Куда бы мне пойти,
Чтоб мог сегодня лихо
Я вечер провести?
Чтоб были-были бы девчонки,
Чтоб было-было бы вино:
А сколько будет стоить —
Мне это все равно!"
А я ему отвечаю:
"Последнюю вчера
На Лиговке малину
Закрыли нам с утра!"*
А он говорит: "В Марселе
Такие кабаки,
Такие там ликеры,
Такие коньяки!
Там девочки танцуют голые,

*...Стоп! Тут дальше, через несколько лет, пошла строфа — вернее, куплет — Галича. Настолько хороший, что при публикации мне одна газета его собственноручно вписала. Вот он: "Советская малина — собралась на совет — советская малина — врагу сказала: нет!" Чудный куплет, но — Галичев!

Там дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак!"
Он предложил мне франки,
И жемчуга стакан,
Чтоб я ему передал
Советского завода план.
Мы взяли того субчика,
Отняли чемодан,
Отняли деньги-франки
И жемчуга стакан.
Потом его мы сдали
Властям энкавэде.
С тех пор его по тюрьмам
Я не встречал нигде.
Меня хвалили власти,
Жал ручку прокурор,
И тотчас посадили
Под усиленный надзор.
А я с тех пор, ребята,*
Одну имею цель:
Ах, только б мне увидеть
Тот западный Марсель!
Какие там девчонки,
Какие кабаки,
Какие там ликеры,
Какие коньяки!
Там девочки танцуют голые,
Там дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак!

Песня была безупречна. Она постепенно вошла в фольклор, в самиздат, в тезаурус языка / я имею в виду "советского завода план", как клише/. Студентом наш друг писал такие стихи: "...Но белые ночи и алые губы! Фиалки-глаза и костюмы шанжан!" Эти фиалки, прямо из романсной корзинки, стали у нас эталоном безвкусицы, одесской безвкусицы. Но стоит ли толковать о вкусе — о хорошем, о дурном вкусе?

* Тут тоже Галич впоследствии чуть-чуть подправил. Песня долго жила анонимно и развивалась по законам фольклора: кто хотел — подправлял.

Главное — не изменять себе. И западный Марсель, где девочки танцуют голые — это поет сама Одесса, родная сестра Марселя, обнищавшая, но не унывающая, которая даже над собой умеет смеяться, над своим золотым, Ришельевским, французским, старопортофранковским прошлым — и над средиземноморским богатым родственником.

— Ничего святого!

Неверно, святое у нее было. У ее детей — было. Она сама. Одесса. Бывала я на семейных праздниках, где провозглашался тост:

— За Одессу!

И все вставали — в с т а в а л и ! — пили, без одесских шуточек, почти что молча. Как все равно у Гоголя: за Сечь!

Правда, эти тосты я услышала только после войны. От тех, кто вернулся. Но годы шли — и до самого последнего времени сверстники мои пили так.

За Одессу.

Ничего святого? Что-нибудь да было, у всех и у каждого. Но над всем "святым" можно было смеяться, не вынося его вон, потому что самое святое и была эта усмешечка, шуточка, возвращавшая одесскую меру вещей одуревшему, осатаневшему от серьезности миру. Над чем только не смеялась Одесса! Над нищетой военного коммунизма — бессмертная песня "Ужасно шумно в доме Шнеерзона". Над временными трудностями пятилетки: "Папочка — и мамочка — и доченька — и сын — Бегают — по городу — ищут — керосин" /на мотив "Конницы Буденного"/. Над неоднократно освещавшейся в русской неподцензурной печати язвой, разъедающей советское общество. Встречаются двое: "А здравствуйте, Абрамович! — Послушайте, Рабинович, теперь каждый второй человек провокатор. Я — нет. Значит, вы. До свиданья". Над собственным патриотизмом: "А Саша Пушкин тем и знаменитой, вей! — Что здесь припомнил чудное мгновенье". Над любовью: "Даму сердца там зовут Марухой, финки в ход пускают за нее— А прощаясь, говорят: затруха — завтра я беру тебя в кино" /На мотив "В лохмотьях сердце"/. Над Сталиным и

паспортизацией: "Иоська Сталин спекулянт— Паспорт получает — А я бедненький кустарь — Меня выселяют!"

И эту развеселую песенку про паспортизацию /на мотив "Фрейлахса", конечно, же!/, пела-голосила Одесса на всех углах, во всех трудовых школах и фабзавучах в то время, когда народ — ну, не народ, а скажем, передовые представители уже начали слагать прекрасные песни о Сталине мудром, родном и любимом /кстати, какая же была первая о нем песня?/... А Одесса — родная сестра западного Марселя — она его не песней, а песенкой, песенкой! Да ведь ей только подай знак, безвкусной южанке, она уж расстарается. Какое безвкусное кощунство — Сталина, эту огромную трагическую фигуру вот так: Иоська Сталин-спекулянт... Вот так просто — взять и обозвать! Одесса вечно "обзывается". За это ей... Пришлось все-таки дать города-героя. Нехотя давали. И — тоже под песенки. "Эх, Одесса, красавица у моря, эх, Одесса, ты много знала горя! Эх, Одесса, ты самый лучший край! Живи, Одесса, и процветай." Тоже на мотив "Фрейлахса", хотя "эх" тут какое-то грустное, некрасовское...

А потом и Одесса замолчала. Радио-официозы ее заглушили, румынские мелодии удивили, трагедия гетто надолго лишила дара речи. Какие-то унылые сетования раздавались в поездах после станции "Раздельная": "...только так говорится в Одессе: что я с этого буду иметь?" Пассажиры вежливо усмехались; сборов поездные певцы не делали. И то сказать — было бы за что платить!

И вдруг в самом глухом, ошеломленном, изумленном сорок восьмом году рассыпался по просторам родины чудесной колоссальный одесский "Жемчуга стакан". Все тут было — и тридцатые и ревущие сороковые; и шпионы, и воры, и наши славные чекисты, и мечта о загранице, которая миф о загробной жизни. И оказалось — над всем этим можно, можно смеяться. А главная ирония была в том, что просыпался этот "Жемчуга стакан" в Ленинграде, битом-перебитом, вечно-крамольном, вечно унижаемом, сумрачном и невеселом, давно забывшем даже о своем Робин Гуде — Леньке Пантелееве. А тут вдруг — "...на Лиговке малину"... И каждые следующие

две строчки в песне — неожиданность, подарок, взрыв хохота, правда.

Эх, назову имя нашего друга, была не была. Звали его Ахилл. Была на него эпиграмма, на втором курсе сложенная: силами хил — в остальном Ахилл. Конечно, она сверху лежала, эта эпиграмма, в самом звуке удивительного для русского слуха мифологического имени. Он был субтильного сложения и невысокого роста, с красивой белокурой головой и мефистофельскими, хоть и белокурыми бровями. В университете его любили немногие — ирония штука ядовитая; одесситов в ЛГУ было раз-два и обчелся, они устремлялись в Москву, которая лучше их понимала. Одесские шуточки в Ленинградском университете порождали недоумения, доносы и персональные дела. Было и у Ахилла персональное дело — по дамской линии — но совпало оно с тридцать седьмым годом, когда комсомол стал торопливо исключать из себя своих членов. К концу этой операции, по наблюдению того же Ахилла, членов комсомола оказалось меньше, чем исключенных, то есть меньшинство исключило из своих рядов большинство. За одно это наблюдение ему бы полагалось по тем временам — но руки не дошли; так что в конце концов получилось, что сам Ахилл исключил из комсомола его большинство. Война застала его аспирантом — в блокадном Ленинграде. В конце войны он был доцентом и работал в Публичной библиотеке. Почему в Публичной библиотеке, а не в университете, где он кончил аспирантуру? Да все потому же. Ректором университета был Вознесенский, родной брат начальника Госплана СССР. Ахилл называл его "Персона Брата". Все очень смеялись. Все, кроме Вознесенского. И пришлось Ахиллу идти в "Публичку". Там он успел сделать серьезную работу — библиографию переводов Гейне.

И вдруг — "Жемчуга стакан". Мы в те времена много пели, может быть, чтобы не разговаривать? "Всем" стало подходить к тридцати, "все" уже как-то расположились в жизни, "все" собирались друг у друга в годовщину свадьбы и в дни рождения /тогда у нас еще не было принято отмечать семейно восьмое марта и революционные праздники/ — сидели за столом, много ели, много пили и пели. Вот за одним таким столом и услышали мы в первый раз Ахиллово творение. Голос у него был высокий и фальшивый. Мы не смотрели друг на друга — чувство неловкости возникло от фальшивого пения и от того, что это было собственное сочинение. В те поры мы пели только чужое. "Чужие города" Вертинского, "Над розовым морем" его же, Блока "Я звал тебя, но ты не оглянулась", на веселый мотивчик и с отличным припевом "Не забывай, подруга дорогая, все наши чувства, мысли и мечты! Расстаемся мы теперь — но милая, поверь — дороги наши встретятся в пути!" Все было давно утверждено и проверено. И вдруг какая-то блатная песня, да еще на мотив "Стаканчиков граненых", да еще фальшивым фальцетом.

"Чтоб я ему передал — советского завода план!" Мы испугались. Бестактность приняла опасные формы. И вдруг — счастливое разрешение: взяли они, взяли того субчика, ура, можно не бояться, и чемодан отняли, и деньги-франки... А потом пошли волшебные неожиданности: "...С тех пор его по тюрьмам — я не встречал нигде!", "... И тотчас посадили под усиленный надзор!", "..Ах, только бы увидеть мне тот западный Марсель!.". Мы плакали от счастья.

Все это было в начале того самого сорок восьмого года — бескарточного года, года устройства в жизни для нас, почти тридцатилетних, перспективного года, когда в семьях решили, что можно рожать по второму ребенку.

У Ахилла была своеобразная, какая-то балетная походка — носки врозь и легкое как бы подтанцовывание. Этой подтанцовывающей походкой он входил ежевечерне в нашу кухню /ту, что следователь впоследствии называл салоном/, потирал с холоду маленькие руки — не шутка это, полчаса в неотапливаемом трамвае! — и говорил, усмехаясь:

— Слушьте, вы тут сидите, а я спас мир от еще одного Николая Островского!

Оказывалось, что он отговорил малограмотного инвалида от намерения писать воспоминания.

Мы садились пить чай, и он спрашивал:

— Ну, как твоя Лизавета? /Так он руссифицировал мою

прекрасную косметичку./ Взяли ее уже, нет? Ты с ней не очень беседуй. Если она, например, спросит тебя о Кравченко, об этом изменнике, который выбрал так называемую свободу...

— А про изменника я согласна с Костей Симоновым.

— Ах да, ты же согласна с Костей Симоновым. Между прочим, у нас была в гостях моя родственница-адвокат. Она сказала, что у одной пятой советских людей есть судимость. Или будет. Вот, на вокзале были, помнишь, когда тебя провожали, мы втроем, Костя Симонов и с ним этот, как его... Софронов, да. Получается — одному из нас не миновать! Косте Симонову, наверное.

И засмеялся. Не потому, что нелепым ему это казалось, а просто так.

Смешно? Смешно. Костя Симонов был в зените, сам Сталин его привечал. Ему было все можно. Когда в Союзе писателей громили попугаев Веселовского / это было прелюдией к космополитической кампании/, попугаи еще защищались. Жирмунский заявил, что написал статью, но нигде ее не берут. Костя из президиума сказал негромко, без напора:

— Присылайте в "Новый мир".

И зал встрепенулся — может, оттого, что не запрещено еще спорить и есть, куда послать, а может, от звука голоса человека, обласканного всесоюзной славой. О нем спорили, о нем мечтали. Фадеев, хоть и в славе, не так пленял воображение: он стоял на кафедре под ослепительными лампами, и его узкое малиновое лицо под седыми волосами багровело постепенно от жара ламп и накипающего раздражения. "Ленинград всегда был оплотом формализма", — кричал он в гневе, устанавливая связь этой минуты с тем, что происходило в двадцатые годы, когда все были молоды, — и рапповцы, и формалисты — и когда его недостаточно боялись. Он брал свой реванш за какие-то старинные обиды, о которых мы только догадываться могли, но он еще только катил первые бочки, первые камни с горы, не предвидя, как утверждают теперь его заступники в малохудожественной прозе, какую антикосмополитическую лавину они за собой потащат.

Да и кто предвидел? Кто ощущал на ухабах ритмы, чередования, напряжения, пульсации настолько, что мог бы предсказать направление событий? Кто мог расслышать скрип старого колеса истории в журнальной перепалке громил с терпеливыми интеллигентами? Ведь, вроде бы, легчало. Возвращались и селились в Луге члены семей Изменников Родины — то есть жены, получавшие в тридцать седьмом году по пять и по восемь лет /те, кто получал десять, не возвращались/. Шел слух, плыл слух, что возвращается Заболоцкий. Говорили о критиках, что сейчас они, конечно, про Недогонова пишут, а вот вернется Заболоцкий, тут они все сразу к нему хлынут, начнут кадить. Слухи о возвращении Заболоцкого шли так густо и нагнетали такие эмоции, словно он возвращался с острова Эльбы. Вертинский давал концерты, билетов было не достать, но мы доставали, и наконец слышали из первых уст:

Принесла случайная молва
Милые,
и нежные
слова...

Легчало. Шли репарации: можно было купить заграничное женское белье не на толкучке, а прямо в магазине; шли трофейные фильмы с Царой Леандер и Вилли Биргелем /по клубам, втихаря/, шли радиопередачи о футбольных победах над "Арсеналом"; шли слухи о том, что весной снизят цены...

О да, о да, легчало.

Только Симоновна — няня наших детей — совсем собралась было вернуться в деревню, но съездила туда и испугалась. "Как же я там жить буду, там сейчас усе голодом сидят, ничего, ну ничего нету! Плакала я плакала, заколотила дом — и вот, опять к вам, если возьмете." Еще бы мы не взяли! Это было еще в сорок седьмом. Но то была деревня — сколько я себя помнила, всегда деревня голодала. Опухшие страшные люди сидели у дверей хлебных лавочек; няня говорила, посылая меня за хлебом: покрепче карточки держи, там мужик голодный сидит, может вырвать. Мне было тогда одиннадцать лет — тридцатый год стоял на дворе; сатанинские ветры дули вокруг земного шара: чудеса социализма опустошали

советские деревни, чудеса капитализма опустошали американские фермы. Каким-то образом даже изобилие оборачивалось голодом. В это невозможно было поверить — и мы не верили, знали твердо: газеты всегда врут.

Легчало. Я иногда приносила домой мандарины, иногда — яблоки. Чтобы дети не сидели без фруктов. По полкило. Симоновна брала в руки яблоко и вздыхала: "Есть же такие места, где этако чудо растет. Яблочко! А у нас вот в деревне..." — "Да почему так, Симоновна, ведь на Псковщине яблоки растут!" — "А у нас Новгородчина." — "Да и в Новгородчине растут." — "Уж не знаю, как и почему, а у нас в деревне отродясь яблони не росли."

А я помнила: в детстве моем были апельсины из Яффы, куда уехал мой троюродный брат Муля. Он прислал мне оттуда письмо, в котором были слова: но даже апельсины приедаются... В это тоже невозможно было поверить.

— Там сейчас сажают эвкалипты, — рассказывал Ахилл. — Шесть миллионов эвкалиптов, по числу убитых евреев.

У Ахилла был приемник /у нас не было/, и он нам рассказывал о том, что происходило в мире с точки зрения приемника. Про Касьенкину, русскую учительницу, которая захотела остаться в Америке, а потом передумала, а потом каким-то непостижимым образом выпала из окна советского посольства /газеты так и писали: выпала/. Ахилл слушал ее выступление по американскому радио. Про Кравченко, который выбрал свободу, и написал об этом книгу, и подал в суд на французскую газету за клевету... "Как хотите, — говорила я, наслаждаясь своим конформизмом, — но все равно он предатель!" Мужчины не спорили. Только муж спросил как-то:

— А почему ты не думаешь, что он действительно выбрал свободу?

Это были те же слова, только по-другому сказанные. Но что такое свобода? Надо было решать все самим, если становиться на этот путь — все, вплоть до значения простейших слов. А если вести себя спокойно, мирно, то значения слов давно уже решены и направления предрешены; Господи, разве мы все не меримся пятилеткой и не падаем, не поднимаемся с ней? Но пятилетка и все, что она мерила,— ведь это и был разум; а значения слов должны были определяться разумом, а чем же еще? Не грудной клеткой же?

Но грудная клетка отзывалась, как осциллограф, и притом на совершенно другие значения. На странное значение слова "свобода", не рациональное, иррациональное. На то значение, которое, если всерьез подумать, как нас учили, рационально, давно стало смешным. Только "осознанная необходимость". Скучно, ну и что? Зато логично. Уж мы ли не осознавали необходимость?

А грудную клетку трясло. От слов. Кравченко сказал: лагеря. Вернувшаяся из лагерей жена, в прошлом номенклатурный работник /от нее, кстати, я впервые услышала тогда это основополагающее слово — номенклатурный/ сказала: маньяк — про Сталина. Прилично одетый мужчина на улице сказал своей прилично одетой спутнице, негромко, печально, продолжая разговор: "Да. Пятьдесят восьмая статья". И все кругом, все кругом, говорили: евреи. С разными интонациями. Но слово было в моде.

Муж пропустил меня в автобус вперед себя. Измученная блокадница прошипела: "Этот Абрам свою Саррочку!.." В "Стреле" Москва—Ленинград моряк говорил проводнику: "Евреи — нам что, пусть живут, только бы пусть бы от нас поскорее бы выкатывались, верно я говорю?" Проводник согласился почти без слов, почти одним кивком — он подметал. Погодин, драматург, и какие-то критики ругали какого-то Сурова — потом Погодин выпал, как Касьенкина, и все о нем забыли, а критиков стали ругать в каждом номере "Культуры и жизни". Уже и фамилии их стали запоминаться — Гурвич и Юзовский. Потом число таких фамилий стало расти. И появилось слово — оно уже прежде мелькало, рядом с попугаями Веселовского. Слово "космополит".

Но это слово мы помнили. Оно же было нацистское?

Грудную клетку трясло. От слов. И от этого трясения, перетряхивания, всплывали вещи давно отложенные, почти забытые, почти погребенные в одесских воспоминаниях. Например, слова умнейшего немолодого одессита:

— Увы, национальная идея сильнее интернациональной.

Ахилл никогда этого не говорил. Он просто рассказывал новости.

— Слушьте, вы знаете, что писатель Яковлев оказался?

— Ну да?

— Вот именно. Оказался Хольцманом.

С самого тридцать седьмого года глагол "оказался" не требовал дополнения: оно подразумевалось. В тридцать седьмом-восьмом подразумевалось: врагом народа. В сорок восьмом подразумевалось: евреем.

Опять задули сатанинские ветры вокруг земли, и уже разоблачали евреев в Америке за то, что они коммунисты, а евреев в СССР — за то, что они антикоммунисты. И опять мы не подозревали, что ветры одни и те же, и не поверили бы, даже если бы нам рассказали. Но читали тогда Эренбурга, Хулио Хуренито, и повторяли друг другу про заступ в тысячелетней руке и про словечко "нет", любимое еврейское словечко.

Наш приятель карел, который, естественно, считался русским, тоже марксист, думал вслух:

— у евреев ум в основном не синтетический, а аналитический. Как вам известно, есть время собирать камни, и есть время их бросать. Время бросать камни сейчас кончилось.

Для одних кончилось, для других начиналось. Критиков космополитов забрасывали камнями в каждом журнале, в каждой газете, "Культура и жизнь" солировала — хор подхватывал довольно стройно под невидимую дирижерскую палочку. Мы диву давались: вчера критик, условно, скажем, Басаргин, воспел Ольгу Берггольц, сегодня он ее растоптал — зачем она сказала про блокаду — "Я вмерзла в твой неповторимый лед" — а на следующий день мы читаем в газете, что никакой он не Басаргин, а просто космополит Блюменфельд, который еще при враге народа имярек пресмыкался перед формалистами... держал руку... прославлял Хемингуэя... убивал Макаренко...

Симоновна рассказала, что вдова ее сына-летчика замуж вышла, приехала в Ленинград. Тоже дом свой заколотила. "Много там домов таких теперь стоит — а как же? Детушек-то кормить надо — а чем кормить? Хорошо, она корову свою успела продать, а он человек хороший, непьющий". Симоновна тоже каждый день приходила с рассказами. Про мальчика в трамвае — сидит, весь замерзший, и ни шарфика на нем, ни рукавичек-дияночек — ничего, а мать с ним — лицо синее, и голос такой, как у мужика. "Нагуляла, теперь пятьсот рублей на него получает! Я с себя сняла рукавички-дияночки, ему надела, на руки его взяла, а она... Плохая мать." Потом наш сын рассказывал эту историю от первого лица: "Я с себя сняла рукавички-дияночки... Плохая мать!" И качал головой сокрушенно.

Появился в Симоновных рассказах постоянный персонаж — какой-то старичок к ним в опчежитие прибился. Замерзший, несчастный, во вшах; они ему воду согрели, вымыли, отпарили и поесть дали; теперь каждый вечер приходит к ним, в углу на полу спит. Богомольный старичок такой. Все молится, да все: "Бог тебя благословит". Дети его из дому выгнали, из деревни он, близко от наших мест. А потом Симоновна пришла удивленная, и все удивляясь, рассказала, что старичка забрали, прямо из опчежития забрали, и он, оказывается, старостой был где-то в ихних же местах. "Мне начальник говорит — он большой преступник, мамаша. А я говорю: откуда ж мне было знать, преступник он или кто, вижу — старичок, вот я и... Вот, говорит, мамаша, вы видите — старичок, а он сколько народу, сколько партизан сгубил, а у вас, мамаша, сыны-то в армии были в советской, а вы вон кому помогаете. А я говорю..."

— В ответ на все эти происки, — сказал Ахилл, — нам остается только одно: держоко высать!

"Держоко высать" — это не опечатка. Будто бы кто-то так сказал на одном из собраний тридцатых годов, случайно оговорившись, с тех пор это вошло в наш тезаурус, как и "О, Софокл!". "О, Софокл!" — это цитата. Была у нас такая студентка, ее называли Луи Каторз, ибо его парики она напоминала своим мелко вьющимся волосом. В ней таились неистощимые запасы энтузиазма. В студенческой читалке она однажды подняла голову, зажмурилась и с наслаждением сказала:

— Какая светлая голова у этого Сталина...

Это было в тридцать восьмом. В тезаурус это ее высказывание не попало, но к ней уже стали прислушиваться с интересом. Мы были вознаграждены. Как-то раз она опять подняла голову от книги и воскликнула:

— О, Софокл! Какой это великий, по-настоящему великий, драматург!

Еще в тезаурусе нашем много лет сохранялось: "Припал иссохшими губами к этому светлому источнику". Автор — Гликман. В тридцать седьмом году он ходил по факультету, нервно поеживаясь. Его спрашивали: "Ну что, Исаак, как дела?" Он громко отвечал: "Светло, бодро, радостно!". Кто-то написал эти слова на обойной бумаге, как лозунг, и вывел подпись: Гликман. Лозунг повесили в самой популярной, шестнадцатой аудитории. Лев Львович Раков, элегантный красавец, в двадцатые годы друг Михаила Кузьмина, потом сидевший, в тридцатые годы читавший у нас античную историю, потом сидевший, в сороковые после войны — директор Публичной библиотеки, потом... Так вот, в феврале тридцать седьмого года Лев Львович Раков картинно поднялся на кафедру, увидел перед собой лозунг, удивился, прочел еще раз и под хохот студентов спросил:

— Товарищи, кто такой Гликман?

Ему объяснили. Он хмыкнул и пожал плечами:

— Гликман!

— Надо же! — сказали бы мы теперь.

Гликман был велик. Много лет спустя я услышала, как совершенно незнакомый человек сказал про зад какой-то девушки:

— Источник неисчерпаемых радостей для будущего супруга.

Это тоже Гликман.

Главный пропагандист гликмановских афоризмов преподает русскую литературу в Соединенных Штатах — наверное, он и туда их занес. Так распространяется культура.

Встреча сорок девятого года была шумная и нелепая — много народу непрямо связанного между собой. Конечно, такая среда — рай для стукача; между прочим, слово это — "стукач" — тогда, мне кажется, не в ходу еще было. "Наседка" — да, существовало. Еще помню с детства: "провокатор". Это мама говорила при мне кому-то, понизив голос: говорят, что К. — провокатор! И еще, тоже с детства помню— "информатор". Есть еще древнееврейское — "мосэр" /от глагола "лимсор", передавать/; еще есть новейшее /а может, вытащенное из сундуков эпохи "слова и дела"/ — "тихарь". Слова для этого понятия не выдерживают срока караульной службы — очень быстро проваливаются. Но валится одно — несколько других сразу же встают ему на смену; побеждает одно — но ненадолго. Только слово "стукач" каким-то образом достигло юридического совершеннолетия, а теперь и зрелого возраста. Может быть — из-за обмягчения полицейского режима в течение последних десятилетий? Семантические законы ведь тоже кое-что подтверждают.

Так вот — встреча. Стол тянулся через всю комнату квартиры, где мы никогда не бывали ни прежде ни после; кое-кого из тех, что были за столом, мы знали со студенческих лет, но они привели с собой других, которых мы без всякого удовольствия увидели впервые. Хорошенькая женщина, слегка поблекшая за восемь лет в Сибири /ЧСИР/ привела подозрительного военного в штатском, малюсенького, с еврейской фамилией и мягкими манерами. Разговора не было — был шум застольный. Потом были шарады /одна целая была космополит/. Потом пели: "Принесла случайная молва", "Флибустьеры", "Над розовым морем", "Донья Марикита" /в честь Испании/, "Жемчуга стакан". "Жемчуга стакан" пели хором. Новой песни не было. Потом мы узнали — не получилась, не удалась!

Я приехала туда от своей Элизабет Арден. Она сделала мне маску, смыла ее, нанесла легкий грим и сказала с легким упреком:

— Думайть не надо. Ни о чем не надо думайть. Иначе — виброшени деньги. Вот, посмотрийть на меня.

Я посмотрела, и вдруг мне почудилось, что в глубине синих эмалевых глаз ходят страхи и взмахивают хвостами, как

рыбы. Один страх особенно заплескался, она опустила веки, отошла от меня и неубедительно засмеялась. Потом опять подошла и спросила тихо:

— Почему ви на меня так смотрийт?

Я перепуганно пожала плечами:

— Да нет, вам кажется, я просто...

Она сказала:

— У меня вид плёхой?

— Ну, уж у вас-то всегда такой вид, как будто вы идете на свидание. Ну, что вы!

Она смотрела на меня без удовольствия и даже попыталась сдвинуть брови. Это ей не удалось, и тогда она чуть-чуть выдвинула вперед нижнюю челюсть:

— Вы сегодня должны всю ночь выглядейть. Я могу вам дать — я все могу вам дайть. Уже сегодня. Вот!

Я так и ахнула. Я получила вожделенную розовую коробку на кнопке! И еще разные бутылочки и баночки. Мне оставалось еще два сеанса — а я все уже получила! Вот это новогодний подарок! Я горячо благодарила Элизабет Арден, она кивала; рыбы перестали бить хвостами.

Элизабет Арден стала бояться. Ну, что ж, значит, уже стала советской женщиной. Неужели боится меня? А почему бы нет? Я какая-то серьезная, не болтаю, а только слушаю, и вообще непонятно, зачем я вдруг именно сейчас занялась уходом за своим лицом, которому помогать явно не стоило.

Мне стало смешно — до чего же глупы эти женщины, только что, как куры во щи, попавшие в социализм. Никто бы из опытных, из наших...

Да? Никто?

Никто.

Надо бы подумать, конечно, — зачем ко мне стала ходить некая Дуся. В университете она была старше меня, мы с ней и двух слов не сказали. И вдруг подошла к моему мужу в издательстве и сказала:

— Я читала Руфины рецензии в "Звезде"; знаете, я работаю для Совинформбюро, хорошо бы нам с ней было объединиться.

Вот мы и объединились и пишем вместе статью. Мне лестно: это уже не рецензии какие-нибудь, это настоящая работа... Да, но зачем ей я? А зачем мне об этом думать? Все равно я ничего себе не позволяю... А почему я просто не прогоню ее под каким-либо предлогом? Мне, правда, всегда нравилось на нее смотреть: милое смуглое лицо с родинками, бархатные глаза...

Да ну, этак и маньяком стать недолго. Да, а вот почему нашему московскому знакомому приятель посоветовал с нами не очень-то? Что это значит?

Меня это мучило. Перед самой встречей Нового года я позвонила в Москву своей подруге.

Я не упомяну ее больше, хотя свет и тепло нашей жизни и тогда и много лет потом шли от нее. В конце концов, кто же в романах пишет о верной службе солнца? В лучшем случае оно отбрасывает на создаваемую картину косые лучи, когда встает и когда садится. В поэмах — бывает; бывает, оно даже на дачу приходит. И к нам приходило, приезжало из Москвы, не очень часто. И вот, я позвонила по телефону и сказала:

— Я беспокоюсь. Помнишь то, что сказал тебе твой друг-журналист, что ему не посоветовали с нами дружить?

— Да? — сказала она.

— Но ведь это значит, что советовавший о нас очень плохого мнения?

Яснее нельзя было сказать по телефону, что, значит, он считает нас "работающими".

Она минутку подумала /хотя телефонная минутка стоила дорого/ потом так и покатилась со смеху:

— Да нет же, это значит совсем-совсем другое. Я с ним говорила. Он просил тебя поцеловать, ты ему очень понравилась, между прочим.

Очень было приятно, что понравилась, я больше ни о чем не расспрашивала. И телефонный разговор уже кончался, к тому же; и значит, это совсем-совсем не то. Тоже новогодний подарок.

Да, это значило как раз обратное: что мы под наблюдением, и потому общаться с нами небезопасно. Но я узнала об

этом только через двенадцать дней, да и тогда не связала с предупреждением журналиста. Оно шло, так сказать, по другому ведомству. В молодости ведомства строго разделены, и около каждого стоит пограничник.

Мы знали, что о нас спрашивают. Нас это не особенно беспокоило: подумаешь, а о ком не спрашивают? Надо же им знать, чем люди дышут. Кто о ком может рассказать, о том его и спрашивают. Для картотеки.

Это до нас доплыло еще летом, на дачу: спрашивают. Спрашивают совершенно неожиданных людей: например, того, кого мы в студенческие годы звали Энтузиастом. Он сказал, что очень мало нас знает — что соответствовало действительности, потому что мы уже года два почти не виделись. Через общих друзей он довел все это до нашего сведения и, чтобы не показаться обманщиком в глазах органов, совсем перестал казать глаза.

Спрашивали мою однокурсницу, с которой мы никогда не дружили. Тоже летом. Уж и не помню, что она такое отвечала, но мы с ней за последние десять лет не сказали и десяти слов. Во всяком случае и она как-то довела это до нашего сведения.

Мы сердились, но более для приличия, и, пожалуй, даже были польщены: вот, значит, и мы становимся видными людьми. Ведь если органы тобой не интересуются — значит, у тебя просто нет социального статуса.

Мы ждали, когда нас вызовут, чтобы и нас расспросить о ком-нибудь. Просто так, для картотеки. Должны же органы знать, чем мы дышим. Учреждение — оно и работает как учреждение, верно? Спросят нас о ком-нибудь, мы скажем, что почти его не знаем, потом передадим ему, что — спрашивал и...

Никто нас не вызывал, однако и мы по этому поводу не огорчались, да и некогда было. Каждому дню довлело многое множество забот; если мерить заботами, то мы жили тогда очень полной жизнью. К тому же оказалось, что я беременна.

Сомнений не было никаких: третьего ребенка рожать некуда, надо делать аборт.

А аборты запрещены, с самого тридцать шестого года, после всенародного обсуждения, широкой дискуссии, чуть ли не референдума. Помню строчку стихов на случай /кажется, Долматовского. Он тоже специализировался на интиме/:

— Послушай, а если он будет Моцарт?

Меня никто не уговаривал — все понимали, что нельзя. Сына я себе отпросила у родителей мужа, с которыми мы жили вместе. Но третьего ребенка — в шестнадцатиметровую комнату?

Потому, может быть, препараты Элизабет Арден недостаточно меня украшали. Но даже смотреть на них было приятно. Вскоре после Нового года я опять пошла к ней — считала, что просто обязана, как честный человек. Она мне удивилась, но стала делать все, что нужно; мы разговаривали, глядя в зеркало. Она сказала задумчиво:

— Я думала весной к сестре поехать, а говорят нельзия. Я перед войной всегда так: раз в год ездила к сестре.

— У вас сестра в Америке?

Она засмеялась, но коротко.

— Почему — в Америка? Почему все думают — у меня сестра в Америка? У меня никого нет в Америка, я даже никогда там не бывала, в Америка. А меня все спрашивают, все говорят...

— Извините, я не хотела...

— У меня сестра в Швейцарии, — сказала она. — Лёзанн. У нее аптека — прекрасная фармаси.

Этот день начался со звонка молочницы в дверь. В то время молочницы еще ходили по квартирам, во всяком случае на Петроградской стороне. К нам ходила молочница Маша, финка с проваленным носом, та самая, которая ходила и до войны. Иногда звонили другие молочницы — которые только искали клиентуру. В этот день позвонила именно такая, незнакомая молочница, было десять часов.

И когда раздался звонок — я сидела на кухне — у меня в мозгу четко вспыхнули, пробили, отстучали слова:

— НКВД? Рано.

Словно кто-то мне их протелеграфировал — потому что они меня испугали, эти слова, я даже не сразу их поняла, и слово НКВД к тому времени устарело, наркоматов — НК — уже не было, были министерства, и министерство, которого все боялись, называлось МГБ, министерство государственной безопасности, но я его еще и не боялась, я боялась так, как все, и потому удивилась сама на вот эти простучавшие в мозгу слова. Я только сразу уже тогда поняла, что слова эти не были мыслью, они были откуда-то приняты.

И, конечно, оказалось, что это молочница, и очень мне самой стало смешно, и я уже думала, как вечером об этом расскажу.

А потом позвонил телефон, я подошла, и трубка сказала женским медленным, чуть капризным голосом:

— Не называй моего имени.

— Ты можешь прийти в одиннадцать часов к комиссионному магазину на Невском?

— Могу.

— Я тебя там буду ждать.

Было десять минут одиннадцатого.

Я вернулась на кухню, собрала свои бумаги, перешла в комнату — у меня было еще полчаса. Мне не хотелось суетиться и приезжать туда слишком рано тоже не хотелось. День был обычный, ленинградский, промозглый, но не морозный.

Мне ничего не хотелось делать.

Но чего я так испугалась?

Ну, опять скажет, что спрашивают. Не она первая, не она последняя. А устраивает все так конспиративно, потому что муж ее партийный и делает университетскую карьеру.

Я ее знала со студенческих времен. Встречались мы не очень часто — жизнь пошла по разным путям. Но встречались; она мне нравилась — и лицо, и голос, и речи — умные, насмешливые речи; отродясь мы ни о чем таком политическом не говорили, только судачили о евреях, которых туда не принимают, сюда не принимают, и я делала широкие исторические обобщения.

Чего я так испугалась?

Может быть, того, что ее звонок почти совпал с той психограммой? А чему дивиться: она тревожилась, не знала, звонить ли, сомневалась — и все это на неведомой волне дошло до меня, я случайно настроилась на прием.

А как она боялась. И как преодолевала!

Бессонный, в пот вгоняющий, смертный страх. Страх человека сорок девятого года, нашего ровесника, — это страх в квадрате, в кубе. Это смутный детский страх первых революционных лет, помноженный на ретроспективный страх тридцать седьмого и возведенный в новую энную степень. К концу сороковых годов нам уже было что терять. И не на время, а навсегда. Появился к концу сороковых годов некий коллективный, внелично добытый опыт: оттуда не возвращаются. То есть иногда на краю стокилометровой зоны возникают призраки — Эвридики — но ненадолго, очень скоро они опять проваливаются туда, в тартарары, в жилище теней, потому, вероятно, если тут есть человечески объяснимое "потому", что, они, Эвридики, оглядывались и вспоминали, и это становилось известным, и церберы хватали их и уводили, увозили снова... "Все там будем" — звучало тогда конкретнее и страшнее. И хотелось этому не верить. Как это — все там будем, если только сейчас начали жить? Раньше была первая пятилетка, а потом вторая, а потом война. Ведь только сейчас вздохнули, даже не вздохнули, а так исподтишка дух перевели, и уже не тридцать седьмой год, тут не хватают без разбору, надо, главное, не болтать...

И она преодолела этот, возложенный на себя во имя жизни и своих, обет безмысленного молчания и после бессонной ночи, ни с кем не посоветовавшись /еще бы! умножить опасность!/, не понимаю, почему, не понимаю, как, позвонила мне из автомата.

А если и не все мне сказала — все-таки, на пятьдесят-то процентов ее хватило.

— Не называй моего имени, — сказала она как-то жалобно.

Кто вы, читающий это сейчас? Сколько вам лет? И почему это вам интересно — а вам интересно, раз вы дошли до этой страницы. Если вы мой ровесник и жили в эти годы — да нет, пусть не в эти, пусть в более ранние годы — в Советском Союзе, в России, то вы что-то свое вспоминаете, такое же горькое. Не может у вас, мой читатель и ровесник, не быть таких воспоминаний. Тот, у кого их нет, и не начинал читать эту повесть, а если начал, то не добрался до этой страницы. Разве что по долгу службы.

Но если по долгу службы — то не стоит. Ничего тут нет такого, о чем органам неизвестно. Им ведь "все известно". Разве только они забыли и вспомнить хотят. Но это как раз самое не ихнее дело — воспоминания; не чужие, конечно, воспоминания, а свои. Свои, собственные воспоминания — это сознание, виновата, самосознание. Которое и есть совесть. На некоторых языках для наших двух слов — сознание и совесть — нашлось только одно. То ли от бедности, то ли от скупости.

А если вы не ровесник мне, а моим детям, да еще выросли не там, не в тех городах, и с детства слышали не Дунаевского с Тихоном Хренниковым, а бугги-вугги? Или рок'н роллы? Или "диско"? И вы дошли до этой страницы?

Мне всегда ужасно хотелось знать, что делала моя ровесница, моя единоплеменница, похожая чем-то на меня, в тот январский день сорок девятого года в городе Нью-Йорке.

И — вот что ужасно! — я легко могу себе представить, что у нее утром позвонил телефон, и знакомый голос сказал ей... Ну, не обязательно "не называй моего имени", но что-то похожее, предостерегающее... И встретился с ней обладатель — или обладательница — этого голоса где-нибудь в супермаркете на Сорок второй улице — а были уже в те времена супермаркеты? — и она услышала, что там о ней спрашивали. Там-то есть в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Мы-то знаем теперь, чем это было чревато. Да, ей не грозила Колыма, не грозило лишение материнства — но и ей было что терять, и она оказывалась одна против железной государственной машины.

Ибо одни и те же полоумные ветры дуют вокруг нашего шарика, нашего зеленого космического корабля с голубыми парусами.

Кто бы вы ни были — пойдемте со мной, милый читатель, добравшийся до этой страницы. Побываем вместе в Ленинграде. На тех нескольких улицах, которые и есть Ленинград. И даже если вы жили в переулке на Пороховых и знаете там каждую щербинку на старом, еще довоенном асфальте, все равно для вас Ленинград не Пороховые, а вот эти самые десять-двенадцать улиц. Многое изменилось за эти тридцать лет, даже на этих улицах, но все равно, вы их вспомните...

Выйдем во двор дома на Добролюбова, 19. Дом стройки начала века, доходный, добротный дом; в зиму тридцать седьмого-тридцать восьмого года у его ворот каждую ночь надолго останавливались черные тихие, как совы, машины — и когда они, наконец, отъезжали, в них становилось на одного пассажира больше. Именно из этого дома навсегда увезли ректора университета Лазуркина, "друга Бухарина", как говорили, а потом шептали. Там была такая парадная с улицы — с зеркалами, с ложей для швейцара, с барской просторной лестницей... По этой лестнице и выводили из дома Лазуркина и других. Это, конечно, не был дом Политкаторжан — помните, большой такой дом, у Невки, самый видный на Петроградской? — который, говорят, совсем опустел, но и тут, на Добролюбова, 19, немало освободилось квартир. Правда, ненадолго, видно, очень хороши были квартиры по той лестнице. В мое время там жил командующий Балтфлотом Трибуц с очередной молодой женой, и семья генерала, служившего в оккупационных войсках: жена в чернобурках, хорошо воспитанные, хорошо одетые дети.

Мы не на этой лестнице живем, наша лестница со двора, темная, пахнет щами. Мы пройдем мимо фонтана, который ни разу на моей памяти не бил — три унылых каменных жабы высохли и почернели. Двор-колодец, шестиэтажные стены смотрят друг на друга большими печальными окнами; двор — асфальтовая пустыня — ни травинки; двор, где гуляют интеллигентные ленинградские кошки. Потом арка, длинная, как

водопроводная труба — и улица. Проспект. Он влажно шумит ветром и деревьями, у него широкий дореволюционный тротуар и у него есть "та сторона". "Та сторона" — без домов; трава, деревья, трава и подальше — цветоводство, где даже в послевоенные годы вы могли на Веру-Надежду-Любовь купить осенние астры в горшках. Там, "на той стороне", гуляли бабушки с детьми; через двадцать лет студент спросил у однокурсницы: "Неужели ты меня не помнишь? Ведь мы с тобой из одного дома, мы гуляли на "той стороне".

Сейчас, когда мы с вами выходим туда, милый читатель, там слякоть, грязь, и нет травы, и деревья черные на сером, и воздух доносит сладковатый, вязкий, в рот заползающий запах с ближнего Ватного острова, где ГИПХ, Государственный институт прикладной химии; но это воздух, влажный, мокрый, дрожащий от капель, которые пока еще холодный пар, и кроме ГИПХа он пахнет географической и литературной Невой. И сейчас, сейчас мы выйдем с вами на Неву, на мост Строителей, который еще на старом месте и не упирается в бывшую таможню — нынешний Пушкинский дом; под ногами мокрые деревянные доски, а под досками и за перилами, направо и налево, серая, тусклая, свинцовая, поблескивающая, тяжелая, самая нежная, самая мягкая в мире Невская вода... Дышите, читатель, дышите вместе со мной бесснежным январским утром сорок девятого года, потому что мы уже перешли мост Строителей; дышите вместе со мной блаженной городской сыростью, гнилым и теплым западным ветром, топчите химически-черную жесткую грязь на каменном Дворцовом мосту, смотрите по сторонам — тут дома, забравшиеся на вечный постой между желтыми лапами Адмиралтейства, а там длинный фасад Зимнего, а там, где летом густые зеленые купы, сейчас один шпиль, игла без ушка, — но главное, дышите. Потому что очень скоро, через несколько сотен моих неширокихшагов дышать станет нечем. Еще один вдох — ГИПХом уже не пахнет, он остался за спиной, только влажность и западный ветер.

Она ждала меня у комиссионного и сказала:

— Уезжай куда-нибудь.

И заплакала.

Между тем утром у комиссионного магазина и нашим арестом прошло восемьдесят пять дней. В промежутке — 15 февраля, в день моего рождения — был арестован наш друг; "Жемчуга стакан" так и остался его марсельезой, больше он песен не писал.

Мы готовились. Мы жгли нашу переписку из родильного дома — и толстую югославскую книгу, с портретами всех членов клики Тито; откуда закатилась к нам эта пороховая бочка — уже совсем другая история, которую я когда-нибудь расскажу. Мать мужа, в прошлом бундовка, потом эсдечка, уничтожила письма Карла Либкнехта. В самих письмах не было ничего предосудительного, только немецкий язык, и — адрес: они были адресованы г-же и г-ну Карлу Радеку: свекровь моя некоторое время состояла с Радеком в гражданском браке.

Она тогда была революционерка, социал-демократка; у нее была партия, платформа, программа... А что было у нас? Только трагическое несогласие и тревога.

— Слушьте, — говорил Ахилл, — о чем Советской власти беспокоиться, не понимаю! Ведь ни у кого нет положительной программы. Нельзя же бросить лозунг: назад к капитализму, который есть светлое будущее всего человечества!

А в это время уже сидели в лагерях школьницы, мои будущие подруги, за общество "Назад к Ленину!" и "Союз друзей свободы". Сидели сионисты — старые и новые. Но не было в лагерях участников правозащитного движения — потому что не было еще этого движения, не пришло ему время. В странном нашем негласном общественном договоре с государством мы молчаливо признавали за ним права и обязанности, а за собой — только обязанности.

И накануне своего ареста Ахилл рассуждал:

— Кому в России давали право жительства? Я с точки зрения черты оседлости говорю. Ремесленникам и купцам первой гильдии. Что же мы должны делать? Купцом уж ты не можешь быть, но ремесленником... Пора нам изучить какое-нибудь ремесло. Если бы знать ремесло — может, и можно бы-

ло бы куда-нибудь уехать. Например, в Лодейное поле. Или в Вологду. Или в маленький город под Одессой, который когда-то назывался Елисаветград, потом Зиновьевск, потом Кировоград: там с самого тридцать седьмого года спасалась моя школьная подруга, которая в тридцать третьем году сделала блестящую партию и вышла замуж за члена Украинского правительства. И спаслась ведь!

Но мы ничего не умели. Особенно я. Я не умела даже готовить, даже ходить за детьми — ведь я выросла в эпоху домработниц. О кройке и шитье... Да ну!

Но в глубине, там, где шевелятся настоящие желания, — или вожделения — желания уехать не было. Было: будь что будет. Было: авось пронесет /тут же прогонялось, потому что вслед за этим непременно возникал какой-нибудь зловещий симптом/. Был привычный страх и были пароксизмы. И было уже совсем в несознанке — любопытство. А — как там?

В сорок девятом году во внутренней тюрьме служил корпусной, его... чуть было не сказала: все любили. Ну, не знаю, как сказать. Скажем: все хвалили. У него был задумчивый голос, он, бывало, заглядывал в женскую камеру и укоризненно говорил: "Что же вы так расшумелись, ведь тут люди работают, а вы мешаете".

Когда этот корпусной впоследствии выводил меня на этап, я сказала:

— Не поминайте лихом.

Он ответил:

— И вы нас не поминайте. Что ж мы — у нас служба такая.

Так вот, этот самый корпусной, когда впервые вел меня в камеру по цирковым трапециям внутренней тюрьмы с белыми сетками внизу, это мое любопытство почуял и спросил приветливо:

— Вы уже бывали у нас?

Как гостеприимный житель Тархан спрашивает:

— Бывали уже в нашей деревне?

Не без гордости за деревню, которая к очередному юбилею покрылась шифером.

Я думаю, он мог бы рассказать, когда, в каком году, по какому случаю натянули в пролетках этажей эти цирковые белые сетки. В камерах рассказывали — после того, как бросился вниз ректор университета Лазуркин. Иногда назывался другой кто-нибудь, но непременно известный. Мы, безвестные, обреченные на растительную жизнь и гибель, словно бы вырастали от общности судьбы с ними. Чем только ни кормится тщеславие!

И любопытство. Евины дочки, мы все, и в общей камере Большого дома, и потом, на пересылке, со страстным, неутолимым, неутомимым любопытством расспрашивали:

— Как там?

Тюрьму мы уже знали. Мы к ней — странно сказать — привыкли. Нас пугала и манила другая черная дыра: лагерь.

Да, и нам рассказывали про лагерь, кто во что горазд. Больше всего нас удивила пожилая бухгалтерша:

— Лагерь — это маленькая воля,— сказала она.

Она сидела на Воркуте, и ее прислали сюда для очной ставки с кем-то.

А мы-то пуще всего боялись лагеря. Нам казалось, если бы вот так, без тяжелых работ /мы, городские, еще не знали выражения: в тепле/, — можно было бы и на тюремных щах, на рыбьей кости...

И все-таки — любопытно было. Раз ты уже здесь — по дороге в преисподнюю, то смотри по сторонам и старайся увидеть побольше. Для чего? Кто знает.

В лагере на Дальнем Востоке был надзиратель Тарасов. Он рассказывал про какие-то совсем страшные лагеря, где люди прикованы к тачкам и так и спят, у тачек. Правда ли? Или страху напущал? Или приказано им было сеять эти слухи, чтобы чувствовали люди благодарность, что они еще — спасибо, хорошо живут, не то, что кандалов и тачек — номеров даже не носят. И чтобы держались за свое благополучие.

Может, если и вправду были такие лагеря, то и там что-нибудь такое рассказывали. Про последние, самые преисподние круги, про лапы самого Вельзевула. Не знаю, людей оттуда никогда не встречала. А любопытно было бы. Самому

Данте было любопытно, а он ведь мужчина, и даже политический деятель был...

Я ехала в троллейбусе номер один по Невскому, в Европейскую. Мне "было назначено" у моей Элизабет Арден. И, что бы там мне ни предстояло, проведу у нее несколько журчащих часов. Хорошо. Сидеть, закрыв глаза, и чувствовать на своем лице ее пахучие руки и кремы. И вести вдумчивую беседу! О гусиных лапках и мимических морщинах. Тихо, тепло, радио поет "На честном слове и на одном крыле"...

Дверь косметического кабинета была настежь, и оттуда доносился веселый металлический стук. Рабочие снимали батареи и перегородки.

— Ремонт! — отвечали они мне. — А откуда мы знаем? А вы спросите...

Кого спрашивать?

Я спросила гардеробщика, инвалида. Он пожал безруким плечом, цепко посмотрел мне в лицо, словно запоминал, и сказал:

— Не знаю, не знаю, нам не говорят, мы люди маленькие. Вот еще одна идет, из ваших, вы ее спросите.

"Тощая корова" шла ко мне, в незнакомом темно-зеленом пальто, страдая всем лицом, закатывая глаза.

— Вы уже знаете? — спросила она трагическим шепотом.

Я кивнула.

— Пойдемте!

Она схватила меня под руку и потащила к лестнице, нашептывая:

— Вчера забрали. Прямо с кабинета. Мне дежурная по этажу сказала, она моя знакомая. Прямо с кабинета. Хорошо хоть, нас с вами не было! Да, вы уже закончили курс, получили все, а мне еще три сеанса оставалось. Подумать только! Но кому же верить? Ведь, казалось, уж здесь, в Европейской, все такие проверенные! Как же они прошляпили? Ну, им теперь мало не будет.

— Кому им?

— Как это — кому? Отделу кадров, директору, словом — всему начальству. И ведь всюду, всюду!.. Думают, мы войну выиграли, так можно уже потчевать на лаврах!

Именно так и сказала — потчевать.

Мы втиснулись вдвоем в сегмент вращающейся двери и вылетели на широкую асфальтовую ступеньку, как две пробки.

Высокий старик в заграничном пальто с непокрытой головой повел бровью и скользнул в дверь. Тощая вздохнула:

— Ездят-ездят, а потом оказываются шпионами. Зачем только их пускают.

Это был такой хороший день!

Благовещение. "На волю птичку выпускаю..." Жаворонки когда-то были в булочных — такие булочки-птички, с изюмными глазками. Жаворонка не выпустишь, конечно, но, может, купить живую птицу? Я ходила по Ситному рынку и присматривалась. Клетки, большие и маленькие, с маленькими птицами, которых, может, и держали специально к этому дню. Да, но зачем мне покупать клетку? И дорого. Муж мой к этому времени уже потерял свои полставки, да и в издательстве положение было ненадежно. После ареста нашего друга было ясно, что теперь настала его очередь — до того ясно, словно он эту очередь сам занимал.

Со мной было не так ясно, даже мне самой. Настолько, что друзья, с которыми мы устроили военный совет после ареста Левинтона, просто отмахивались: "Тебя-то не возьмут! Будешь стучать на машинке своему китайцу!" И вот этого-то я и боялась больше всего. Не машинки — жизни. Жизни с двумя детьми в семье мужа. Жизни среди людей, которых пока "не коснулось". Жизни и ее ни с кем не разделенных забот. Очередей у окошечка тюрьмы. Очередей у следователя. Страха сказать где-нибудь не то. Страха не сказать то. Страха слова, молчания, действия, бездействия... Я уже не могла и не хотела делать выбор, не способна была на выбор, который и есть жизнь. Я неспособна была на жизнь. Я была готова для тюрьмы.

Так я и не купила в тот день, шестого апреля, птичку, чтобы выпустить ее на волю. Я даже подумала: а нужна ли ей эта воля, все равно другие птицы заклюют, как чужую. И не ку-

пила. Шла домой по саду Госнардома, мимо Зоологического, где так часто бывали с детьми, мимо гуляющих, в обшарпанных темных пальто, с просветленными весенними лицами, и думала словами, что они останутся и будут гулять тут и тогда, когда меня не будет, через месяц, через год, через десять лет, вечно... Оборванец с голубыми от весны глазами подошел и сказал твердо:

— Помогите, чем можете!

И, когда я стала рыться в сумке, торопливо уточнил:

— В разрезе рубля.

Память подводит — я уже не помню, сколько тогда стоило полбанки. Не хотелось уходить в темную подворотню с сияющей апрелем улицы.

Когда прозвенел звонок, которого я ждала столько месяцев, я его не узнала. И когда коротенький человек в штатском показал мне красную книжку гебешника — тоже не узнала. Он приветливо сказал, что мне придется с ним поехать, ответить на кое-какие вопросы, и я решила, что меня, наконец-то тоже решили спросить. Я оделась. Дети вышли в переднюю провожать. Дочка, подпрыгивая, подозрительно спросила:

— А мама куда идет?

— Вернется мама, вернется, — весело ответил коротенький человек.

Я подумала: сколько раз ты, наверное, это говорил, зная, что мама не вернется! И все равно не узнала.

— Вызовем такси? — предложила я.

— У меня машина. И махнул рукой: ну, что вы!

Машина ждала у ворот. В ней оказался еще один человек, у него было железное лицо из советского военного фильма. Я весело поздоровалась, он ответил. Коротенький сел с шофером, я — рядом с этим вторым. Мне показалось странно: коротенький был чем-то очень доволен и все посмеивался, старался вовлечь в веселое настроение второго, но безуспешно. А второй человек, куда более интересный, вел себя так, словно рядом не молодая женщина, а пустое место. Что-то я сказала про погоду — он ответил односложно, не поворачивая головы. У меня почему-то зашумело в ушах. Господи, они будут спрашивать про Левинтона, надоумь меня, как отвечать! Вразуми! Я молилась и смотрела в окно на тающий под апрельским солнцем ленинградский снег, а шум усиливался. Мы подъехали не к главному входу, а к огромным воротам на боковой улице — на улице Воинова — и машина загудела, и ворота медленно пошли в сторону, и мы медленно въехали, и я увидела человека, который крутил большущее колесо — ворот. Что-то подобное мы видели недавно в американском фильме про "Али-бабу и сорок разбойников", колесо вертели, надрываясь, рабы, а тут управлялся справно одетый и обутый солдат. Приоритет! Однако тут и коротенький перестал со мной разговаривать, как-то вдруг отдалился. Да я бы его и не слышала, из-за гула в ушах. Я только смотрела — вперед и по сторонам. Мы вышли, куда-то вошли, лестница, потом узкий коридор, недлинный; я смотрела, старалась запомнить, чтобы знать, рассказать, описать — но так и не запомнила ничего, ни стен, ни количества ступенек, ни длины коридора. Мы подошли к какой-то небольшой двери, и Железный бросил мне через плечо:

— Подождите здесь.

И я села на стул и раскрыла книжку Голсуорси, которая у меня была с собой: "Через реку". К этому я была готова — что придется подождать. И гул в ушах стал ровнее. Это уже бывало — сидеть и ждать с книжкой, когда примет начальник. Но, кажется, я просидела недолго. Железный открыл двери и кивнул головой. Я вошла, села; помню перед собой какие-то деревянные перильца, за которыми стоял Железный. Он подал мне — нет, вручил! — бумагу: большой лист, плотный, на котором все было напечатано типографским способом — только мое имя, отчество и фамилия были напечатаны на машинке. Я увидела крупные, жирные, черные буквы: ОРДЕР НА ОБЫСК И АРЕСТ.

Гул взорвался — и его не стало. Словно кто-то огромной подушкой накрыл мне голову.

Гул затих, и я вышла на подмостки.

А моя Элизабет Арден?

Я так и не увидела ее больше. Наши пути не скрестились, ни в общей камере, ни на пересылке, ни в лагерях. Хотелось бы мне закончить этот рассказ встречей где-нибудь на Дальнем Востоке, в Райчихинске или на Средне-Белой. Но нет, не было этого. И в послеэтапных рассказах попутчиков и попутчиц моих по "крутому маршруту" она не проступила. Вспоминала я — и не без горечи — когда видела в зеркале белые на темном морщины, похожие на трещины:

— У вас ошшень, ошшень сухая кожа.

Но почему-то иногда она мне снилась. Я дивилась — вот уж, казалось бы... Потом заметила: после такого сна непременно бывает что-то хорошее: письмо придет, или на работу не выгонят, или еще что-нибудь — мало ли радостей! Стала я стараться думать о ней перед сном — но нет, снилась только, когда я не старалась. Бывало, приснится, когда и ждать ничего хорошего не приходится — ан нет, не обманет!

В последний раз она мне приснилась 12 июля 54-го года. Уже четыре женщины ушли от нас досрочно, чего никогда с нашей пятьдесят восьмой не бывало. Но никто не радовался: четыре, но это четыре отдельных случая.

Я оказалась пятой. Элизабет Арден не подвела. Только сработала не сразу: телеграмма "Ты и муж освобождены" пришла не в тот день, а на следующий.

Но уж после этого она не снилась мне больше никогда.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

В Новом Русском Слове сотрудничают лучшие литературные силы эмиграции. Газета имеет собственных корреспондентов в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Леонид ИОФФЕ

РАДИ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Пока тебе строка не свистнет,
пока призыв не налицо,
пока из ряби темных истин
не вспыхнет красное словцо,

пока из блеска и тумана
разгон не ясен в горизонт, —
резона нет корпеть незвано
и трудодня ломать фасон.

1980 г.

Когда вокруг меня и под
на ширину и толщу вод
уже давно молчат слова
и нет охоты отплывать

на подвернувшейся каким-то чудом строчке
туда, к нескучным островам,
искать нескучных островов гряду, цепочку,
гадать, прикидывать, как высадишься там, —

тогда я обращаюсь к вам:
а надо ли таким Синдбадом
быть мореходом и диван
продавливать или не надо,
чтоб на нескучные наткнулся острова
Синдбад, десантник, одиночка, —
хотя и так и так прикончат
его безмолвие и гвалт.

1978 г.

"СМЕРТЬ ВАЗИР-МУХТАРА"

Приговор шариата объявлен.
Огорчит узколицый семью.
Шахский евнух... та самая капля.
И коран осеняет резню.

А посол прозябает небраво,
Туркменчайского мира творец:
пара слов, пара шуток и — слава
кулуарной поимки сердец.

Фрак неистов. Очки на столетье
упредили ученый глазок.
Корчил автора. Сох от комедий.
И куруры выкачивать мог.

И служебный расшив на мундире
полномочно возвысит его.
Но прожекты касаются в мире
многих, кроме тебя одного.

Может, евнухов души дряхлее,
может, русская крыша течет, —
но шикарный министр шалеет,
из предсмертия выжав полет.

И вазир завершает вояжи.
Шевелит персиянка чадрой:
на мешках подставною поклажей —
Грибоед, награжденный арбой.

1968 г.

Дипломаты,
искусники жеста,
кустари государственных склок!
Интриганов
дворцовое детство
посолиднело в ранге послов.

Задний ум бескорыстно отточен.
Профанация, лоск, лабиринт.
Чтобы вдруг договорную строчку,
огорошив, пустить напрямик.

И расклеена суша по мере,
и меняются пункты, скользя,
и, клянусь этикетом, — пустяк
все усобицы всей нашей эры.

1968 г.

Наш разговор об истине прекрасен.
Ты говоришь, я озабочен тем,
чтоб не мешали жить мне и проказить, —
но где та жизнь и где проказы те?

Нет жизни той, порожней или полной,
ни на ухмылку нет, ни на зевок,
нет жизни, просто нет ее на полке, —
украли или скрыли под замок.

И я скажу, что нет ее в помине,
ни на еду, ни на грядущий сев,
бродячей нет, уютной у камина,
и нет нигде и никакой совсем.

Поверишь ли, но жизни просто нету,
ни на рисунок нет, ни на рассказ,
той самой нет, лазурной напоследок,
и вечной нет и лишней про запас.

Вот оттого-то слепо это очень —
вести огонь по той, которой нет,
по той, уже последней и непрочной,
по тени, по Дюймовочке во мне.

1980 г.

Круженья бабочек и мошек,
их нервной нежности боюсь,
пыльцы, крутящейся над кожей,
и цирка лающихся дусь,

и бузотерящей руки,
поднявшейся на чью-то волю,
и сна, в чье зеркальце кривое
дневные брезжат пустяки,

и юза доброхотных глаз
боюсь — казни меня,богиня,
казни, но чтоб сама погибель
моя в зарницы облеклась.

И сердцевину топких взоров
в ту ночь осушит имярек,
а та расплющит об озера
всех Карамазов мощь и грех.

Я оборву свое дыхание.
Нет места робким на земле,
где бая свергнувший дехканин —
в раю, при сабле и седле.

1969 г.

Какое звонкое свиданье
мечта готовила мне там,
куда от слез и расставаний
я взмыл, как в розовый туман.

Туман грядущего, будь славен!
Дал Бог не видеть сквозь года,
не знать о будущего лаве,
как враг, текущего сюда.

А солнечный туман меж гор
сгущен до солнечных озер,
на дне озер коробки зданий
стоят узорами и ждут,
когда же годы к ним придут,
после которых их не станет.

1980 г.

Висел над городом осадно,
став испарениями ада,
зловещий воздух, съевший пыль,

и ада цвет висел в погоде,
мешая вместе ночь и полдень,
и весь наш город адским был.

1980 г.

Прибоем воздуха и солнца
захлестнут город несплошной,
и место между гор заполнил
не новый день, а новый зной.

Под этим зноем еле виден
макетный город, на родстве
воздвигнутый, а не на быте,
и для событий в розней век.

Свой банный день перемогая,
не людно плавая в пару,
он словно окунулся в грусть,
в тумане солнца не сверкая.

И я безмолвно и уныло
смотрю, как вол, на день в горах —
не новый день, а новый крах
всего, что утро мне сулило.

1980 г.

Без доли умысла, расчета,
бтдав кивок на реверанс,
я в паре с Музой в повороты,
на променад и в добрый час
бросаюсь в бальное круженье,
в обрывки смысла на губах,
в тур вальса ради продолженья
фигур, улыбок, жестов, па.

1980 г.

Илья БОКШТЕЙН

МЕЛОДИЯ ЦВЕТА

НЕВЗАИМНОСТЬ

Когда ты вспыхнул предо мной. Внезапно
Фонарь включив у моего лица
В моем лице бегущих красок пятна
А в отблеске ногтей рука отца
Оцепенев вцепился ноготь в кожу
И съежился и разорвался в крик
Раздавленною вошью нерв мой ожил
Как в глыбе льда проснувшийся старик
Сломав переплетенья сучьев
Полозья пальцев распластав в стекле стола
Качнулась истуканом всемогущим
Я помню: в этот миг я умерла
А ты спокойно целовал другую
Дарил ей чуть помятые цветы
В их вмятинах рыдающие струи
Слезой моей румянят ваши рты.

* * *

В глубине листа густые клены
Пальцы влажности на листьях озаренных
Лепестками солнца округлили облака
Как тарелочка поляна цветом глубока

ОДИНОЧЕСТВО

Белеющего ветра тонкий звон
И крики филина из шепота разлуки
И гнущегося стебля снежный стон
Из шелеста немых прощаний руки
И плач невыразимо — за стеной
Чужую ночь оплакивать одной.

* * *

Я влюблен не слишком, а слегка
Речка принесет тебе зверька
А зачем мне глупый твой зверек
Если к солнцу путь еще далек
Веселит причудливость цветка
Уходящая застенчивость твоя
Унесла поющая рука
Вьющиеся перья соловья.

* * *

На прошлогодней, порванной афише
Желтеют голуби в весеннем полусне
У желтых вывесок кафе
На авторучках — птицах лимузинов
Полосками синеет бывший снег
В порту на барже розовеют галифе
И розовое солнце над Парижем.

КИРИКО

Я угломером разделил кольцо
На циферблате мыслей
Круг цветов
И треугольники вокруг расположил
Пространство увеличено внутри
Сложенным столиком. Смотри:
Какою деревянной глубиной
Сияет пустота
Внутри огромного ореха!
Наполовину срезан сетчатой ракеткой
У шкафа тенниса лицо
И на тяжелом угловатом
Монетами обклеенном плаке*
Жестикулирует кругами на доске
На угломеры вставший манекен.

ПАМЯТИ НИЗАМИ

Ночью бархатной черной, как челюсти Рока
Вдохновенную душу святого пророка
Бык небесный жемчужину неба ночного
Вынимал из ноздри у земного
И потухла земля, будто черное небо разуто,
Будто черное поле теперь бесприютно
И на ней я бесплодно тоскую
И стада там пасутся вслепую.

ПОЭТ-СУФИ

Меня пугает стих
Как будто созданный другим
Как будто смотрит на меня

---

* Плаке /фр. plaquer/ изделие, покрытое тонкими листочками из ценных материалов.

Большеголовый дым
Как холодно двоим!
Я свечи словно минареты расставляю
Планета кружится как мы
Огни поют
За стенами замаскирован вечер
Нагими толпами колонн
Качнулись на балконах плечи
Свечам мечети в унисон
Я появился желтой феей
Как полукруг, как нет меня,
И плачет перед ней
На плиты опустив колени
Душа нездешняя моя.
Земля вздохнула, выдыхая: "Хватит!"
Прости что долго по тебе бродил
И рад бы на покой
Да нет по мне кровати
Я до рождения ошибку допустил.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "РУССИКА"

ПЕРВОЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ ПОЭЗИИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Стихотворения и поэмы в 5 томах

Издающееся впервые собрание стихотворений и поэм объединяет практически все дошедшее до нас поэтическое наследство Марины Цветаевой.

Тексты, включенные в собрание, выверены по всем доступным архивам и источникам и выявленным публикациям. Многочисленные стихотворения печатаются впервые после оригинальных публикаций, затерянных в редких эмигрантских периодических изданиях 20-х и 30-х годов.

В примечаниях даются краткие библиографические сведения и все установленные разночтения и варианты.

Собранию предпослано предисловие Иосифа Бродского и биографический очерк Виктории Швейцер. В третьем томе публикуется статья проф. Юрия Иваска, посвященная поэтике Цветаевой. Собрание завершается хронологией жизни и творчества Марины Цветаевой, составленной д-ром Джейн Таубман.

Материалы в собрании расположены по хронологическому и жанровому признакам.

Том 1. И. Бродский. Об одном стихотворении. /Вместо предисловия./ В. Швейцер. "Своими путями" /Биографический очерк./ "Вечерний альбом". "Волшебный фонарь". "Юношеские стихи". "Версты 1" /1916/. Стихи, не вошедшие в авторские сборники.

Том 2. "Версты 2" /1917-1920/. "Лебединый стан". "Психея". "Стихи к Блоку". "Ремесло". Стихи, не вошедшие в авторские сборники.

Том 3. Статья проф Ю. Иваска. "После России". Стихотворения 1925—1939 годов. Переводы.

Том 4. Поэмы: "Царь-девица". "На Красном коне". "Молодец". "Поэма горы". "Поэма конца". "Крысолов".

Том 5. Поэмы: "С моря". "Попытка комнаты". "Лестница". "Новогоднее". "Красный бычок". "Поэма воздуха". "Перекоп". "Сибирь". "Автобус". Драматические поэмы: "Метель". "Приключение". "Фортуна". "Феникс". "Червонный взлет". "Ариадна". "Федра". Хронология жизни и творчества /сост. Джейн Таубман./

Цена пятитомного собрания в розничной продаже — 100 долларов. Индивидуальным подписчикам предоставляется скидка в 25 процентов.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: При подписке от индивидуальных заказчиков принимается залог в 30 долл., который обеспечит им бесплатное /за исключением почтовых расходов/ получение последних двух томов. Оплата первого, второго и третьего томов будет производиться подписчиками по мере выхода в свет первого тома — 1 ноября 1980 г.

Все издание предполагается осуществить в течение одного года.

Подписка принимается в магазине "Руссика"

Russica book & Art shop, 799 Broadwey, New York,N.Y.10003,USA

ВНИМАНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДПИСЧИКОВ:

"Руссика" принимает оплату исключительно в виде Международных денежных переводов в долларах США.

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Анатолий ФЕДОСЕЕВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СВЯТОСТЬ ИЛИ РАЗУМНЫЙ ЭГОИЗМ

На страницах одного из эмигрантских журналов появилась статья коммунистки, которую в 1979 году в возрасте 73 лет исключили из КПСС. Ее уже исключали раньше, 40 лет тому назад, но она, видимо, с немалым трудом, тогда восстановилась. Она пишет, в частности, что начинала свою деятельность еще комсомолкой и даже вела подпольную комсомольскую работу во время немецкой оккупации Украины в 1918 году. За свою долгую деятельность с самого начала революции в 1917 году она внесла свою лепту в виде всей своей жизни в строительство социализма в СССР. Теперь она переживает страшную трагедию человека, потратившего все свои силы и всю свою жизнь не только без пользы, но во вред и своим идеалам и человечеству. Потратила, по существу, на неправое дело. Я намеренно не называю ее имени. Ее трагедия — это трагедия сотен и тысяч идеалистов, вложивших весь жар своей души в дело распространения социализма во всем мире и попавших затем в его западню, но по счастливой случай-

ности — не под его топор. На Западе и до сих пор действует огромная армия таких идеалистов.

Она пишет, что партия, в которую ее принимали 53 года тому назад, стала уже совсем другой, когда ее исключали во второй раз. Той прежней партии уже нет в живых, утверждает она. Она также не хочет пересматривать свое отношение к дореволюционному прошлому, как это делают многие другие. Она считает это неправильным. Прежняя Россия, Белая Армия, капитализм остаются для нее одним сплошным злом. "Барыга-спекулянт" остается для нее символом прежнего мира, отвергнутого ею навсегда. И она держится изо всех сил за свои идеалы общества добра и свободы, которые она по-прежнему называет социалистическими. Вероятно, не нужно и подчеркивать, что она является и сейчас убежденной атеисткой-безбожницей.

Для полноты картины отметим существование еще двух категорий идеалистов-социалистов. С одной стороны — престарелых идеалистов-соглашателей, не рискующих перечеркнуть усилия всей своей жизни и идущих в ногу с социализмом, закрывая глаза на его зло. И с другой — идеалистов помоложе, которые считают возможным исправить социализм, придав ему "человеческое лицо".

ИДЕАЛЫ И ЭГОИЗМ

Однако что же это за идеалы, на которых так настаивает наша идеалистка? Прежде всего, ее идеал есть идеал именно определенного общества /на конкретном языке — государства/ — общества социализма, а отнюдь не идеал человеческой личности.

Религии, в частности, христианская, обращаются к человеку как к личности. Религии стремятся улучшить самих людей. Что касается общества, то о нем в религии речи нет, хотя общество /государство/, состоящее из хороших, улучшенных религией людей, видимо, должно быть автоматически хорошим. Поэтому в истории религии существует множество религиозных деятелей и святых, которые своим личным примером стремились повлиять на самих людей и как будто во многих случаях достигали цели.

Я предполагаю, что нашей идеалистке такая задача улучшения конкретных людей, чтобы они достигли ее собственного "стандарта-идеала", казалась либо невыполнимой, либо слишком "крохоборческой". Поэтому она, как и миллионы других доброжелателей человечества, обратилась к идее именно идеального общества. По этой идее такое общество с помощью государственной машины преобразует плохих людей в хороших. Скажем, людей, которые были до этого "барыгами-спекулянтами", превратит в самоотверженных, добрых альтруистов.

Что же это за сила, которая может меня или вас, скажем, в 30, 40, 60 лет, со всем нашим разумным или неразумным эгоизмом, превратить в социалистических святых, достойных социализма? Ведь, вот же сама-то идеалистка за 73 года жизни так и не пересмотрела своих убеждений и своего характера. Видимо, она полагала, что переделывать нужно не ее самое, а всех других людей. Себя она, наверное, считала уже вполне созревшей социалистической святой.

Со времен пещерной жизни человек из жестокого животного превратился в современного человека. Думаю, что этот "человек" даже обглоданной кости не дал бы другому, а теперь в одних Соединенных Штатах благополучные люди, по одиночке, добровольно, жертвуют в пользу менее благополучных ежегодно 36500 миллионов долларов. В шесть раз больше, чем вся организованная благотворительность. Безусловно, в среднем, люди на протяжении миллионов лет стали лучше, добрее, милосерднее. Этот процесс постепенного совершенствования человека социалисты-идеалисты не только отрицают, но настаивают на обратном. Причина подобной позиции понятна: иначе не "продать" никому их социалистический идеал. Так вот идет естественный процесс улучшения именно самих людей, а возможное улучшение государства и его поведения может быть только вторичным явлением, вытекающим из совершенствования людей, вполне в согласии с религиозным учением.

Идеалисты, не рассчитывая на свою силу убеждения, хотят заменить естественный, но очень медленный процесс /и не всегда в каждый данный момент направленный в одну сторону/, на "много более скорый" процесс улучшения людей силой социалистического государства. Но какая же это может быть сила, если не сила насилия и истребления "грешников"? И беда в том, что сила государства, даже истребив всех "барыг-спекулянтов", не может, принципиально, достигнуть превращения людей из грешных в святых.

Человеческий род, как и любой род животных, сохраняется на земле с помощью инстинкта самосохранения и самоудовлетворения своих потребностей. Этот инстинкт выражается в явлении, которое называется эгоизмом. Конечно, эгоизм бывает разумный /живи и давай жить другим/ и рассчитанный на будущее /продолжение человеческого рода/, но бывает и неразумный /"рви" все, что можно, и когда можно/. Однако ликвидация эгоизма эквивалентна ликвидации инстинкта самосохранения и, следовательно, может привести только к вырождению человечества и исчезновению его с лица земли. К счастью, ликвидация инстинкта самосохранения невозможна. К тому же, этот инстинкт лежит и в основе процесса самоулучшения общества через познание связи личного бытия с бытием всего человечества. Именно поэтому совершенное государство идеалистов может только заменить разумных эгоистов на гораздо более страшных и уже совсем не разумных.

"Барыга-спекулянт" нашей идеалистки, эгоизм которого мог удовлетворяться только в случае, когда он был полезен нам с вами, немедленно преобразуется в спекулянта общественным добром, в спекулянта на идеалах и пропаганде, в спекулянта насилием, в спекулянта на государственной власти. Он действует в соответствии со своим эгоизмом, но уже не находясь от нас с вами ни в какой зависимости.

Маркс, понимая превосходство силы, исходящей от независимых, свободных людей, по сравнению с силой государства, требовал полной ликвидации частной собственности. Но эта ликвидация частной собственности полностью лишала миллионы людей их экономической и, следовательно, всякой другой независимости. Лишенные независимости люди отдавались во власть всеобщего хозяина — государства идеалистов и следовательно, во власть и на эксплоатацию указанных выше худших сортов спекулянтов. Существенно отметить, что в этом случае лишенные независимости люди уже не могли бы никак воспрепятствовать новым спекулянтам их грабить и эксплуатировать. Прежний "барыга-спекулянт" оказался бы, по контрасту, милым, самоотверженным человеком по сравнению с много худшими, новыми звероподобными спекулянтами.

Очень важно отметить, что наши идеалисты и Карл Маркс, кроме того, очень сильно или ошибались или недоговаривали. Даже полное лишение людей независимости с помощью ликвидации частной собственности не приводило к необходимому послушанию, конформизму и превращению людей в социалистических святых. Даже крайний террор и крайнее насилие со стороны государства приводили лишь к крайне неустойчивому послушанию и конформизму и лишь к чисто внешней социалистической святости, Оказывалось, что никакая государственная власть, никакие террор и насилие не были в состоянии превратить миллионы грешников в социалистических святых. Таким образом идеалисты потерпели полный крах их страшных своими последствиями идеалов.

Правда, еще ни одна из двадцати ныне существующих социалистических стран не смогла полностью реализовать идеал Карла Маркса. Маркс хотел полной ликвидации частной собственности, включая и личную, что не реализовано. Он хотел полностью ликвидировать рыночное распределение продукции, заменив его плановым распределением. В СССР продукция распределяется через рынок и зарплату, то есть деньги. Это оставляет некоторую свободу для граждан, хотя бы в выборе товаров или в отказе от покупки. Маркс хотел также обобществить семью, ликвидировав сам институт жен и мужей, их ответственность за своих детей, а также саму верность членов семьи друг другу. В СССР же сейчас, наоборот, стараются укрепить, на социалистических основах, семью

и ответственность родителей за детей. Маркс хотел превратить население в нечто подобное армии /"индустриальные армии"/, которую можно было бы по плану бросать с одной работы на другую. Маркс хотел ликвидировать разделение труда и профессионализм — основу высокой производительности труда и благосостояния народов — так, чтобы все делали всё /кухарка, например, управляла государством/. СССР и в этом не последовал за Марксом. /Можно, пожалуй, представить себе потрясающую катастрофу, если бы он последовал./

Видимо, самим марксистам-идеалистам эти рецепты Маркса показались абсурдными, правда, не сразу. Именно все эти идеалы Карла Маркса в совокупности действовали в прежней большевистской партии, в которую вступала наша, тогда еще молодая идеалистка.

КПСС в ее настоящем виде куда мягче и разумнее и "человечнее", если, конечно, так можно выразиться, чем то, что предусматривал Маркс в своих идеалах.

Что же хочет сказать наша идеалистка, когда считает, что КПСС за 53 года изменилась в худшую сторону? Не хочет ли она полной реализации всех марксовых идеалов? Насколько все еще было бы страшнее и бесчеловечнее, если бы сам Карл Маркс или сама наша идеалистка командовали СССР.

Так или иначе наша идеалистка напрасно сваливает вину на КПСС. Именно идеалы нашей идеалистки ответственны за всемирное зло СССР. Именно они и привели к КПСС и СССР.

Заметьте, что мы еще ничего не говорили о приемлемости идеалов нашей идеалистки для меня, для вас и для других людей. Все ведь мы имеем каждый свои идеалы, которые могут называться одинаково — равенством, братством, справедливостью или как-то еще по другому, но иметь совершенно разный смысл. То, что справедливо для одного, может быть крайне несправедливо для другого. Человек крупный, нуждающийся из-за этого в усиленном питании, будет считать неравенством, если его будут кормить одинаково со всеми. Точно так же, как и человек тяжелее других работающий. А более развитый интеллектуально человек, будет считать

неравенством, если его будут "кормить" одинаковой пропагандистской мешаниной наравне со всеми. И т.д. и т.п.

В частности, я на своем собственном опыте и шкуре уразумел, что этот "отвратительный барыга-спекулянт", заботясь о себе, неизмеримо лучше заботится обо мне и о моем благополучии, чем социалистическое общество нашей идеалистки, бескорыстно заботясь обо всех.

ДРУГИЕ БЛАГОДЕТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

К сожалению, кроме "идеалистов-социалистов" — Маркса, Ленина, Сталина, Мао, Кастро, Мусолини, Гитлера, Троцкого, — имеется еще и туча других идеалистов, доброжелателей человечества. И в истории и сейчас имеется много, например, религиозных деятелей или просто одиночек, которые, не уповая на Бога и свою силу убеждения, стремятся создать такую церковную администрацию и монополию, чтобы их силой превращать грешников в святых. В свое время, крестовые походы, испанская инквизиция тоже действовали в этом направлении. Во Франции достигали идеалов с помощью, например, истребления десятков тысяч еретиков-гугенотов. Сейчас этим во всю силу занимается идеалист Хомейни, проповедующий, правда, не столько власть /административную/ ислама, сколько под маркой антикоммунизма чисто марксистский коммунизм с его ликвидацией частной собственности. В Иране уже почти все национализировано. Все эти деятели совершенно выхолащивают смысл религии, обращенной к личности, оставляя лишь ее административную оболочку в виде власти.

В журнале "Возрождение" № 9 "третий эмигрант" И. Глазенап агитирует за восстановление монархии. Если разобраться, то идея И. Глазенапа заключается в том, что он уповает не на церковный аппарат, не на специальную государственную машину /как социализм/, а на личность монарха — "батюшка-царь" превратит общество, состоящее из грешных, корыстных людей, в порядочное и справедливое. Однако И. Глазенап не рассказывает нам, каким чудом его монарх окажется сам с

таким идеальным характером, чтобы улучшать своих подданных, а не ухудшать: ведь любой монарх тоже является грешным человеком. И. Глазенап не рассказывает нам, каким чудом или какими средствами его очень хороший монарх будет превращать миллионы грешных подданных в порядочных людей. И. Глазенап мечтает и в мечтах, естественно, упускает из виду, что и его идеал требует, хоть и другого сорта, но аналогичных средств для приведения всех людей к одному его, И. Глазенапа, знаменателю-идеалу.

Я беседовал с одним человеком еще из первой эмиграции. Так он прямо считал, что нужен диктатор. Однако как сделать диктатора хорошим /хотя бы, согласно оценке одного этого эмигранта, а не всех граждан/ и какими средствами этот диктатор может приводить все население к одному хорошему стандарту поведения, — этого мой эмигрант так и не смог объяснить.

Таким образом, явно считая человечество грешным и морально недоброкачественным, идеалисты всех сортов хотят его переделать, привести к "хорошему" знаменателю, уповая в выполнении этой задачи одни — на специальное государство /социализм/, другие — на церковь и ее администрацию /но не на религию и Бога/, третьи — на Маркса, Сталина, Гитлера, Мао, Кастро, Троцкого, четвертые — на "царя-батюшку", пятые — на партию, профсоюзы и т.п.

Все они в этом отношении одинаковы и обожают некую силу в качестве недостающего им средства убеждения. Силу, которая, конечно, никогда не присутствует в их высказываниях, но всегда там незримо действует и в дальнейшем неизбежно приводит к разочарованию, как и в случае нашей идеалистки.

СЛЕДУЕТ ЛИ ПРИВОДИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К ОДНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ-ИДЕАЛУ?

Действительно, человечество еще далеко не совершенно. Оно, однако, много, много лучше пещерного человека или даже человечества средних веков. Кроме того, кому нужно

совершенство? Ведь после достижения совершенства, вероятно, не останется ничего делать /улучшать-то некуда!/, как только взять веревку и повеситься. А что такое совершенство? Едва ли можно будет об этом договориться и за тысячу лет. Какой же смысл стремиться, да еще и силой, к идеалу совершенства, который невозможно однозначно и приемлемо для всех определить? Не лучше ли оставить человечество в покое и перестать понуждать его идеалами, в которые каждый из нас вкладывает совершенно различный смысл? Не лучше ли ставить более конкретные и более полезные задачи? Например, задачу свержения социализма и освобождения миллионов людей от его рабства. Например, задачу предотвращения в будущей, послесоциалистической России чрезмерной власти государства, гигантских профсоюзов, гигантских корпораций, как это мы видим сейчас на Западе. Пусть государство, например, занимается своим прямым делом — обеспечением порядка, независимости и свободы граждан вместо того, чтобы диктовать им идеалы и каждый их шаг. Пусть государство "отсекает" лишь ненормальные крайности поведения: насилие одних граждан над другими, воровство, несоблюдение договоров, излишнюю концентрацию власти в одних руках. Это будет вполне в духе, скажем, христианства с его заповедями: не убий, не укради, не обманывай и т. п.

Такая задача будет неизмеримо проще, чем диктовать каждому все детали его "правильного" поведения. Не придется прибегать к массовым террору и насилию над миллионами обычных граждан, не согласных с идеалом, словом, спаси нас Бог от идеалистов-доброжелателей любого сорта, а с "барыгами-спекулянтами" мы сами справимся.

Вольфганг Зеев РУБИНЗОН

ОТ ЦАРЯ ДАВИДА ДО ЛИПКЕ БУХГАЛТЕРА

Мафии в древнем и современном мире

Свои заметки я хотел бы начать с определения самого понятия "мафия". Что означает это слово, столь часто употребляемое в современном лексиконе? Мафия — слово сицилийского происхождения, оно родилось в северо-западной части Сицилии, в городе Палермо.

В современном мире с понятием "мафия" связывают преступный мир, но итальянцы, точнее, сицилийцы, среди которых родились первые мафии, наделили это слово совершенно иным смыслом. "Мафиозо" — значит замечательно, умопомрачительно, бесподобно. Из уст сицилийцев вы могли услышать "какая мафиозная баба", или "какая мафиозная лошадь" или "какой мафиозный петух". Семантика слова "мафия" нам важна для того, чтобы лучше понять образ людей, к которым оно со временем стало применяться, и истоки их влияния на окружающий мир.

Примечательно, что мафиози сами себя никогда не именовали мафией. В Сицилии они звали себя либо "ле онората со¬

киета" — "благочестивое общество", либо просто "амики" — "друзья".

Но другие, видя в них нечто устрашающее и привлекательное, нечто даже романтическое — а привлекали в них мощь, блеск, то, что обычно они были обладателями больших денег, что в них было много шарма, что они пользовались огромным влиянием в политике, — так вот другие, простые сицилийцы, видя все это, и не в силах скрыть восхищение, назвали их мафией.

Что же касается уголовного мира, то из источников следует, что к нему слово мафия было применено впервые в 1863 году, когда Джузеппе Ризотто поставил пьесу "И мафиози де ля Викария" /"Мафиози Викарии"/. Викария — это центральная тюрьма города Палермо. Но если попытаться понять смысл этих слов — "мафиози Викарии", который в них вложил Ризотто, то его герои — это не преступники, брошенные за решетку, а смелые мужчины, отважные и блистательные, оказавшиеся в тюрьме Викария.

Надо сказать, что сицилийская мафия давно уже выработала свой собственный кодекс чести, который восходит, по-видимому, к кодексу чести средневековых рыцарей, и он сохранился благодаря тому, что одним из главных развлечений в Сицилии был кукольный театр. Театр этот выступал в самых отсталых и маленьких селах с представлениями из древних времен или средневековья, но действовавшие на сцене герои очень напоминали сицилийских мафиози.

Один из главных законов сицилийской мафии — это "омерта", то есть обет молчания. Никто из давших этот обет ни под какими пытками не имеет право выдать секреты тайного общества. Если он выдал, то он сам знает, что его ждет только один приговор, который приводится в исполнение после последнего поцелуя главы мафии.

Другой главный закон мафии состоит в том, что любой из ее членов должен хранить свою честь. Это то, что в древнем мире называлось "дигнитас", а на языке мафии — "фарси риспитаре", то есть умение заставить относиться к себе с почетом. И ранг человека в мафии зависит не от возраста, не от

общественного положения, а от той степени, в которой он способен заставить других уважать себя.

В первое время своего существования сицилийская мафия поддерживала Бурбонов в их борьбе против Гарибальди, но к 1860 году, когда итальянские войска вторглись в Сицилию, чтобы освободить ее жителей от последних Бурбонов, мафия переметнулась на сторону освободительных войск и заняла свое положение в новой, так называемой либеральной Италии конца 19-го века.

Между тем, центральные власти, сидевшие в Риме, в глазах сицилийцев оставались чужаками, которые к ним не имели никакого отношения. Поэтому в северо-западной Сицилии, в Палермо, еще долгие годы продолжалась ожесточенная борьба между старой мафией и представителями властей, присланными из Рима. Было несколько попыток подавить мафию, но, в общем и целом, они всякий раз оканчивались неудачей, и сицилийская мафия продолжала благоденствовать.

С приходом к власти Мусолини, в 1922 году, она вначале примкнула к фашистскому движению, полагая, что произвол фашистов вполне может сыграть ей на руку. Сицилийские мафиози безошибочно оценили фашизм. Это была действительно родственная им организация, но именно поэтому она не захотела терпеть в Сицилии конкурента. Мусолини посадил начальником полиции в Палермо своего человека — Чезаре Мори, который к 1943 году — ко времени вторжения американцев в Сицилию — сумел почти до конца уничтожить сицилийскую мафию. Но, как говорят, история полна парадоксов, и тут произошла довольно странная история: секретная служба Соединенных Штатов, при помощи американских гангстеров, выходцев из Сицилии, установила контакты с остатками сицилийских мафиози, и те поддержали американцев при их вторжении в Сицилию. В результате одна из немногих положительных акций фашистского режима оказалась сведенной на нет: почти по всей Сицилии вышедшие из тюрем мафиози назначались мэрами городов и членами городских муниципалитетов. Никто из них, конечно, не говорил, что он был арестован за свою принадлежность к мафии, каждый из

Сицилийские мафиози. Скульптура. /Предположительно автор Ф. Боннано./

них уверял: "Я попался за то, что боролся с Мусолини!", а кого же было назначать на государственные посты, как не преследуемых Мусолини антифашистов? Так под покровительством американской военной разведки вновь воспряла духом почти было уничтоженная сицилийская мафия.

Впрочем, трудно было поверить, что Аллен Далес, глава американской разведки, был так наивен, что не знал, в чьи руки он передает власть в Сицилии. Сговор, по-видимому, был сделан еще в Америке с помощью гангстеров сицилийского происхождения, подобно Лаки Люциано, бдительно следивших за тем, что происходило в Сицилии во времена Мусолини.

КЕЛЬЯ ДОНА КАСТРОНОВО

В журнале "Тайм" от 22 сентября 1980 года появился очень интересный рассказ, показывающий связь всего официального мира Сицилии с мафией. Заместитель настоятеля монастыря Санта Мария де Джузеппе, находящегося возле Палермо, дон Джиокинто Кастроново, 61 года, проснулся от того, что кто-то постучал в дверь его кельи. Ни о чем не подозревая, он открыл дверь и был убит выстрелами из охотничьих ружей двумя молодыми людьми, которые тотчас скрылись; они влились в католическую демонстрацию, состоявшуюся в честь святой Марии и проходившую в этот момент мимо монастыря.

Как мы знаем, Италия за последние годы привыкла к политическому террору. Но убийство заместителя настоятеля одного из самых больших францисканских монастырей вызвало бурю возмущения — до сих пор ни правые, ни левые не покушались на служителей Ватикана, да еще такого ранга.

Когда прибывшая на место полиция вошла в келью дона Кастроново, то здесь ее ждал странный сюрприз. Дон Кастроново не только не жил, как отшельник, но за стенами его кельи были обнаружены следы необыкновенной роскоши: дорогая мебель, большой выбор самых дорогих и роскошных костюмов, самых элегантных туфель, огромное количество

лучших гаванских сигар и в еще больших количествах коньяки и вина, которые мало кто из простых людей мог позволить себе иметь даже в самых малых количествах.

В ходе обыска полиция обнаружила в карманах заместителя настоятеля монастыря Санта Мария 4800 долларов в новых банкнотах.

Выяснилось, что дон Кастроново — это один из главарей сицилийской мафии. Так вот, вначале он скрывался под рясой простого монаха, затем — заместителя настоятеля монастыря Санта Мария, под покровом которого мог проводить все свои дела, не вызывая ни малейшего подозрения у полиции. Кто же заподозрит, что столь высокопоставленное духовное лицо занимается контрабандным перевозом наркотиков, которые сицилийская мафия, используя свои контакты на Ближнем Востоке и в США, вывозит из Бейрута, из Турции, из Сирии, из Ирана?

В своей деятельности дон Кастроново опирался не только на связи с Ватиканом, но и с членами парламента от правящей партии. И это, естественно, делало его еще более неуязвимым и недосягаемым для официальных властей.

Чтобы показать, что представляет собой сегодня сицилийская мафия, я позволю себе привести высказывание Михеля Анджело Руссо, видного левого общественного деятеля Палермо. Он говорит, что в Палермо существует огромная бюрократия. Предполагается, что 30 тыс. жителей города из 550 тыс., населяющих эту область, служат на государственной и общественной службе. И каждый знает, что он вряд ли сможет найти работу благодаря тому, что успешно учился или наделен от природы хорошими способностями или потому, что ему улыбнулась фортуна. Чтобы попасть на государственную службу, ему необходимы протекция и покровитель. Патрон открыто ничего не требует, но тот, кто получил через него работу, знает, что он и вся его семья должны проголосовать за нужных патрону людей из правящей партии. Поэтому, хотя Сицилия и является одним из самых бедных районов Европы, у левых партий нет никаких шансов придти к власти или даже получить какое-то внушительное число мандатов. Этому

всякий раз воспрепятствует мощный политический механизм, приводимый в движение церковью, мафией и христианско-демократической партией Италии.

Я бы хотел привести еще одно высказывание — Леонардо Скиаскиа, сделанное им на страницах одной из итальянских газет:

"Когда наблюдаешь за извилистым путем муниципального управления Сицилии, читая официальные протоколы заседаний местного совета, кажется, что входишь в мир, где взаимодействие софизмов, тайных соглашений и взаимного обмана, междоусобной борьбы, холодной и горячей, — перерождается в чистейшую фантастику... Местная бюрократия Сицилии — это институция метафизическая /и за это ее проклинают!/, которая находит наивысшую точку своих достижений в акте подписи под документом. Когда городской голова дает вам справку, он чувствует себя священником, справляющим мессу, и весь остаток дня его совесть чиста и безмятежна".

МАФИЯ ЦАРЯ ДАВИДА

Я не случайно так подробно пишу о сицилийской мафии. Она дает нам классический образец, на примере которого мы ниже рассмотрим структуры, механизм и условия существования мафий в других странах и в другие времена. Как это ни покажется удивительным, но я должен сказать, что во многом тем же принципам, что и сицилийская мафия, следовал благочестивый библейский царь Давид или, скажем, даже Кай Юлий Цезарь. Я уже не говорю о современных американских или израильских мафиях, рядом с которыми действия сицилийских мафиози, героев пьесы Ризотто, кажутся невинной детской игрой.

Так вот, может быть, это и прозвучит несколько экстравагантно, но я хочу попробовать показать, что одним из первых мафиози был никто иной, как царь Давид. Я бы хотел обратиться к истории того, как и, что еще важнее, *какими методами*, царь Давид сверг с престола короля Саула. Все, о чем я буду говорить дальше, — не есть плод бездоказательных спекуляций ума, все это записано в "Первой книге царств" — от главы пятнадцатой до тридцать первой.

Как мы знаем, первым еврейским царем был царь Саул, которого помазал на престол пророк Самуил. По приказу Самуила Саул двинулся войной против неиудейского короля Амалека. Самуил приказал Саулу уничтожить всех амалекийцев — мужчин, женщин, детей, стариков, старух — всех без исключения. Это — пятнадцатая глава "Первой книги царств" Библии.

Известно, что Саул ослушался Бога и его посланца Самуила, он убил мужчин, но пощадил женщин, детей и стариков, то есть не пошел на то, что в новейшие времена мы называем геноцидом. Поэтому Бог и пророк Самуил решили свергнуть Саула и на его место поставить другого царя, Давида, младшего сына Есея.

Я не буду говорить, как Давид убил Голиафа, как пришел он ко двору Саула, как играл там на арфе — все это не имеет значения. Но через некоторое время, когда он стал уже приближенным Саула, то заключил союз братства с его сыном Ионатаном. Подобно тому, как сицилийские мафиози давали тайные обеты поддерживать друг друга в борьбе с соперниками, точно таким же тайным обетом обменялись Давид и Ионатан.

В связи с возникшими у Саула подозрениями Давиду пришлось оставить королевский двор, и он скрылся. И далее я читаю по тексту "Первой книги царств": "И пошел Давид оттуда, и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все, огорченные душою".

Вот вам типичное зерно мафии: его сородичи, должники, беглые преступники — все примкнули к Давиду в пещере Адаламской, и там был создан тайный союз против центральной власти короля Саула.

О том, как действовал Давид, как предводитель мафии, нам рассказывает глава двадцать пятая "Первой книги царств":

"Был некто в Маоне — а имение его на Кармеле — человек очень богатый, у него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при их стрижке на Кармеле." Имя человека того Навал, а имя жены его Авигаль. Эта женщина, как повествует двадцать пятая глава, была весьма умная и красивая лицом, а он — человек жестокий, злой нравом, он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам: "Поднимитесь на Кармель, и пойдите к Навалу, и поприветствуйте его от имени моего, скажите так — мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что стригут овец, вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармеле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим, и сыну твоему Давиду то, что найдет рука твоя..."

Из дальнейшего выясняется, что Навал отказался платить Давиду то, что сегодня на шуке Кармель, центральном рынке Тель-Авива, называется "протэкшен" /откуп/. После чего Давид и 400 членов его мафии — да будет мне позволено еще раз употребить здесь это слово — отправились к Навалу, чтобы посчитаться с ним. Предупрежденная об этом Авигаль, жена Навала, встретила Давида и, как далее следует из текста, с трудом умолила его согласиться на откуп. Тем не менее, через 10 дней Господь поразил Навала, и Авигаль, по требованию Давида, стала одной из его многочисленных жен.

Итак, царь Давид стал в конечном итоге один из самых почитаемых царей Израиля, в то время, как навал это сегодня бранное слово, означающее на иврите "подлец".

Поистине, победителей не судят. Это полностью применимо к мафии. И это, наверное, вдвойне применимо к царям, идущим дорогой мафии к славе и власти.

ПРИГОВОРЕННЫЙ ЦЕЗАРЬ

Я мог бы теперь на примере судьбы другой великой личности проиллюстрировать все ту же мысль: хоть слово мафия и зародилось в Сицилии, само это, явно не украшающее человеческое общество явление, восходит к далекой истории и не раз давало о себе знать, когда разыгрывалась жестокая борьба за власть. Ниже мы еще покажем, сколь эфемерными в наше время становятся границы между политикой и мафиями, а пока, как я уже сказал, обратимся к судьбе еще одной великой фигуры человеческой истории. Я имею в виду Юлия Цезаря, который, как известно, покончил с Римской республикой и основал принципат.

Цезарь принадлежит к одной из древнейших семей античного Рима. Его род восходит к Юлию — сыну Энея, основателя Рима, и к матери Энея — богине Венере.

Молодой Цезарь сделал довольно сомнительную карьеру. Он тратил огромные суммы денег — в 60-е годы первого столетия до нашей эры — чтобы расширить свое политическое влияние, и в 59-м году добился того, что был избран одним из двух римских годовых консулов и был послан в Галлию, то есть теперешнюю Францию, которую завоевал в течение последующих семи лет.

В это время в Риме развернулась настоящая борьба двух мафий — мафия Юлия Цезаря, возглавляемая Клодием, и мафия, поддерживающая так называемые "старые порядки", под предводительством Мило. В конце концов, Клодий был убит в таверне около Рима. Но Юлий Цезарь, после того, как его мафия оказалась побежденной в самом Риме, решил ввести новые силы. Он, как известно, приблизился к Рубикону и, произнеся ставшую сакраментальной фразу: "Alea jacta est" — "Жребий брошен!", перешел со своей армией Рубикон. Не будем вдаваться в подробности гражданской войны, разгоревшейся после этого. В конечном итоге, Юлий Цезарь уничтожил всех своих соперников, и в 44-м году был избран пожизненным диктатором Рима.

Тогда случилась очень странная вещь: и тайная полиция Цезаря, и местные римские пророки, и — совершенно открыто — некоторые члены Сената сообщали ему, что такая-то и такая-то группа людей, в которую входят Кассий, Каска, Брут и другие, готовит на него покушение. И вот, вместо того, чтобы окружить себя неизменно охранявшими его телохранителями из числа нанятых им на службу германцев, Цезарь пошел в Сенат один. Он отпустил их и сказал: "Я доверяю чести Римского Сената!". Цезарь не был наивным человеком. Когда он вошел, к нему подошли снова и предупредили: "Они собираются тебя убить", но он натянул на голову тогу и покорно ждал решения своей участи.

Смерть Юлия Цезаря — это смерть человека, которого приговорила мафия. Ведь он даже не пытался спастись, несмотря на то, что знал день и час своего конца, знал, кому предписано его убить, знал о всех приготовлениях. Единственно, что действительно его поразило, — это было то, что сын его давнишней любовницы Сервилии, которого она, возможно, родила от него, — Брут — участвовал в этом заговоре. И увидев, что и он решил поразить его своим копьем, Цезарь воскликнул: "И ты, Брут!". Это пример того, как действовали и тогда законы мафии. Если мафия приговорила человека к смерти, и даже сын на стороне его врагов, любая попытка спастись лишена смысла. Смерть приговоренного мафией неотвратима, даже если приговоренный, как мы видели в нашем случае, сам Кай Юлий Цезарь.

Как мы видим, мафии действовали на протяжении всей человеческой истории. И если я в качестве примеров избрал царя Давида и Цезаря, то лишь для того, чтобы показать, что даже самые великие люди древности не были свободны от влияния этого поразившего современную цивилизацию явления.

Вот, если хотите, еще один пример, который дан у Фукидида относительно тайной полиции Спарты, зовущейся "криптея". Фукидид в 80-й главе своей 4-й книги рассказывает, что спартанцы всегда принимали меры предосторожности против илотов — то есть несвободных земледельцев, которые работали на Спарту. И вот один раз криптея предприняла следующую акцию. Было объявлено, что те из илотов, которые считают, что они отличились, оказывая помощь спартанцам в их войнах, могут выдвинуть свои кандидатуры на выборах. И такие получат освобождение от рабства. И действительно, 2000 илотов заявили о себе, как о людях, помогавших властям. И они уже ходили с возложенными на своих головах венками в предвкушении предстоящего освобождения. Но прошло несколько дней, и они исчезли с лица земли, и никто так и не узнал, куда они исчезли. То есть в этом случае тайная полиция Спарты, криптея, безошибочно применила методы мафии. Она выявила своих самых опасных противников и потом, как это бывает в практике мафий, эти люди бесследно исчезли.

Это, кстати, очень напоминает, как в Тель-Авиве недавно чуть было не исчезли два преступника — Коэн и Орион, которых разрубили на куски на мясообрабатывающей фабрике. Они бы, вероятно, также бесследно исчезли, как упомянутые выше илоты, если бы бедуин-пастух не нашел в песках нейлоновые мешки с кусками мяса и не навел бы на след преступников полицию. Но как признает сама полиция, это обнаружение произошло лишь по чистой случайности — настолько мастерски были обработаны тела на мясокомбинате. И если бы не случайность, их просто растащили бы шакалы. Вот так, причудливым образом, смыкаются действия мафий, отделенных тысячелетиями. Иные времена, иные исторические обстоятельства, но те же методы, в которых не так уж трудно разглядеть зловещий почерк мафий — действуют ли они в Сицилии, в Римском Сенате или на шуке Кармель в современном Тель-Авиве.

ЕВРЕЙСКИЕ КОРОЛИ АМЕРИКИ

Обычно американское еврейство видится или в облике богатого дяди, преуспевающего бизнесмена, или же в облике крупного ученого, Нобелевского лауреата, или крупного кинорежиссера, большого артиста. Но, может быть, не все

знают, что наводивший на столь многих ужас "Подпольный синдикат" Америки был создан евреями, а не сицилийцами или ирландцами, или, скажем, пуэрториканцами. Я хочу упомянуть хотя бы несколько гремевших в свое время имен: Фил Ковалик /"Палка"/, Чарльз Соломон /"Король"/, Луи Кравец /"Тень"/, Джек Гузик /"Жирный палец"/, Авнер Цвильман /"Длинный"/, Луи /"Липке"/ Бухгалтер, Меир Ланский... Все они, или почти все — дети выходцев из Восточной Европы и России, все они пришли в преступный мир примерно двадцати или немногим более чем в двадцать лет. Почти все даже не окончили начальную школу, все они люди с сильно выраженными семейными и родственными привязанностями. Причем их родители — эмигранты из Восточной Европы и России, приехавшие в Соединенные Штаты в 80-е — 90-е годы 19-го столетия, спасаясь от еврейских погромов, — в Америке чаще всего бедствовали и вынуждены были заниматься тяжелым физическим трудом. Дома они преимущественно говорили ни идише и старались придерживаться еврейских обычаев.

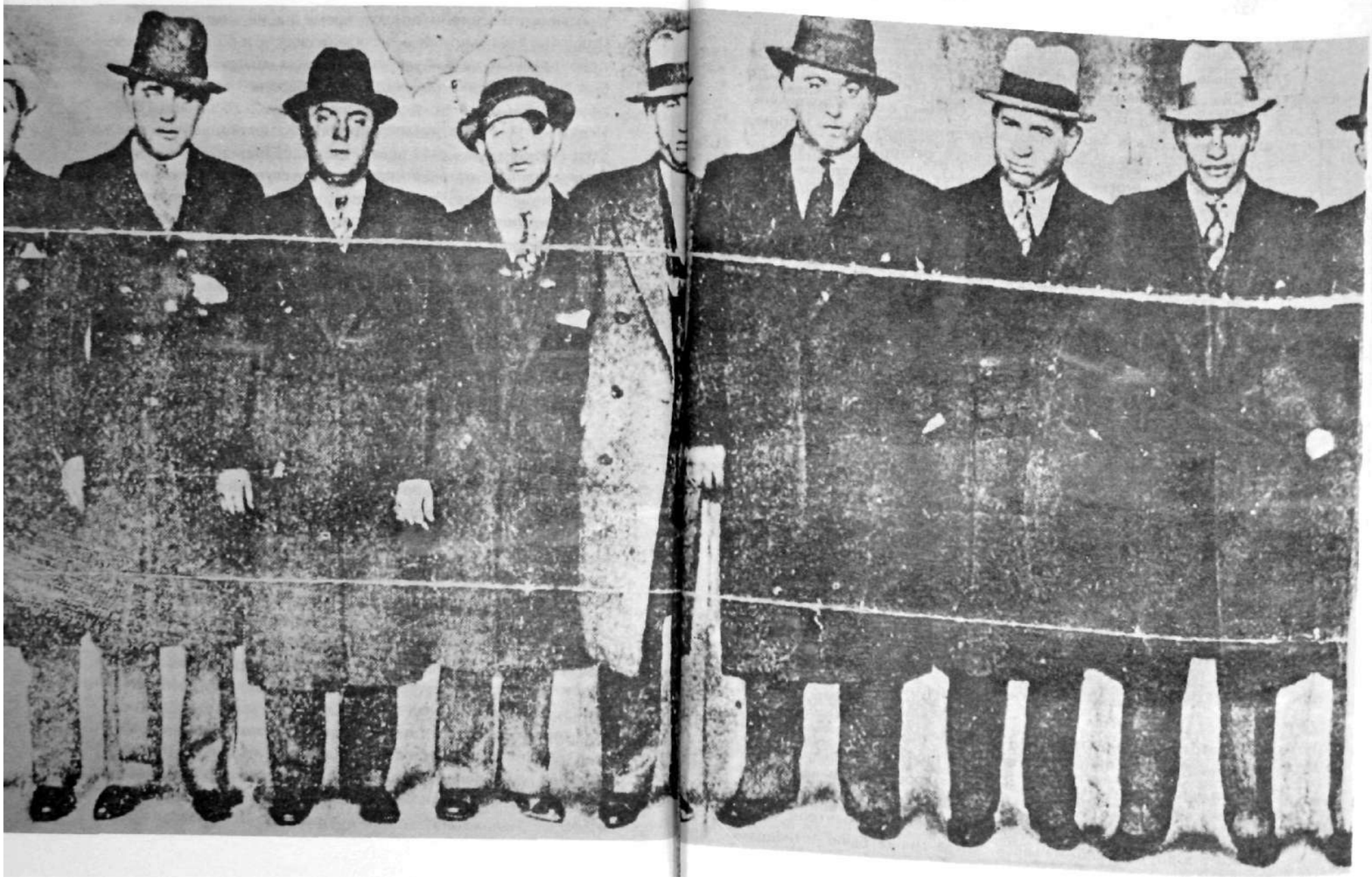
Можно представить себе социальные причины, которые в начале нашего столетия вызвали к жизни еврейскую мафию Америки. Дети иммигрантов, оказавшиеся в Соединенных Штатах в чудовищной нищете, лишенные возможности учиться, не знающие языка, ощущали себя обделенными в обществе изобилия. Способные от природы и наделенные живым еврейским умом, они искали в динамичной Америке кратчайший путь к богатой и красивой жизни. Они считали, что жизнь была несправедлива к их родителям, и теперь хотели взять реванш. И уж, во всяком случае, не хотели прозябать так, как прозябали их матери и отцы. И вот мафии становились в их глазах такой кратчайшей дорогой "наверх".

Если евреев Америки и связывают с преступным миром, то обычно их считают преступниками "белого воротничка", то есть далекими от "мокрых дел" и связанными с махинациями в банках, на бирже, с акциями и так далее. В действительности, еврейские гангстеры начали с самих низов — наркотиков, проституции, вымогательства /"протэкшен"/.

Арнольд Ротштайн в свое время носил кличку "Царь". Под этим именем он был, кстати, известен и в полиции — некоронованный царь подпольного мира Америки. Его отец был активным членом еврейской общины Нью-Йорка, возглавлявшим фонд крупнейшего еврейского госпиталя "Бейт Исраэль". Чем же отличался Арнольд Ротштайн, первый гангстер Америки, и целая плеяда последовавших за ним еврейских мафиози, от обыкновенных преступников? Чем вообще отличаются те, кого принято называть гангстерами, не столь уж многочисленные, но очень влиятельные деятели подпольного мира, от буквально наводнивших сегодняшний мир преступников? Наверное, тем, что преступник, как правило, довольствуется спорадической добычей. Сегодня он ворвался в банк и взломал сейф, когда кончатся деньги, он взломает еще один сейф, или обчистит квартиру, или ограбит кого-то на улице. Так, по-видимому, действовали многие из друзей Арнольда Ротштайна в дни его юности. Но у него, как и у многих его последователей, был живой, изобретательный ум. И он, по-видимому, пришел к заключению, что так может действовать только дурак. Нужно превратить преступление в хорошо налаженный бизнес, дающий постоянный доход, может быть, без взлетов, но и без резких падений.

Насколько он был удачлив, можно видеть хотя бы из того, что Арнольд Ротштайн в течение всей жизни ни разу не оказался за тюремной решеткой. Он превратил свое дело в многомиллионное предприятие. Часть его бизнеса составляли наркотики, часть — азартные игры, а после введения в Америке сухого закона — ввоз спиртых напитков. Он был первым, кто после того, как закон этот был принят в 1919 году, скупил целый пароход виски в Англии, привез его в Нью-Йорк и сгрузил его тут. Как он это сделал? Ведь это воспрещалось законом. Но тут-то и проявилось, можно сказать, все величие Арнольда Ротштайна — у него в кармане были сенаторы, члены Конгресса, полиция. Как ответил один из его приближенных на вопрос журналиста: "Получить разрешение от полиции не так трудно. Ведь начальника полиции мы назначаем".

Главари еврейской мафии Америки.



Арнольд Ротштайн приглашался на самые высокопоставленные обеды и имел доступ ко всем кругам общества. Он был связан не только с полицией, но и с крупными банками, которые кредитовали его бизнес. Он был вхож в правительственные круги. Мог через посредников устроить любому грин-карту, разрешение на открытие ресторана или магазина, так что многие вообще были ему обязаны своим существованием в Америке. С другой стороны он был теснейшим образом связан с преступным миром, без помощи которого не мог выполнять всякого рода "грязную" работу. Его застрелили в "Парк-Централ Отель" в час, когда он был увлечен азартной игрой, в 1928 году. Его похоронили по ортодоксальным еврейским законам, с чтением кадиша, причем многие официальные представители ортодоксальной еврейской общины присутствовали на его похоронах.

Другой великолепный пример еврейского мафиози — это Луи /"Липке"/ Бухгалтер, родившийся в 1897 году. Он был одним из одиннадцати детей в бедной еврейской семье, проживавшей в Лоэр Ист Сайд, в Нью-Йорке. В начальной школе Липке /так обычно звала его мать/ был блестящим учеником. И этим он, может быть, выделялся среди многих ему подобных.

Когда Липке исполнилось тринадцать лет, умер его отец. В пятнадцать лет он окончил восемь классов, и один из старших братьев предложил ему деньги, чтобы он мог продолжать учебу. Липке отказался. Вскоре его семья покинула Нью-Йорк, и он остался совершенно один.

Его путь в мафию берет начало на самом что ни на есть дне Нью-Йорка: он грабил пьяных, оказавшихся на улице, выкачивал "протэкшен" у мелких лавочников... В эти годы судьба свела его с другим евреем — Джеком Шапиро. Так образовался этот довольно странный тандем. Шапиро был прямая противоположность Липке Бухгалтеру. Липке был скромным на вид, невзрачным, тощим еврейским подростком. Джек Шапиро даже внешне выглядел настоящим преступником — сильный, неразвитый, лишенный всяких сдерживающих центров. Однако эта дружба, сложившаяся, когда Липке было пятнадцать

лет, продолжалась до последних его дней. Всю жизнь они оставались верными друг другу, хотя были совершенно разными даже по своим привязанностям, по манерам и по образу жизни. Шапиро любил кутежи, любил сорить деньгами, крутиться с красивыми женщинами. Липке, напротив, был замкнут, скромен и неприхотлив. Но, может быть, они так близко и сошлись потому, что были полной противоположностью, и один дополнял другого.

Липке попался дважды — в семнадцатом году, когда украл дамскую сумочку и получил год условно; в восемнадцатом году его поймали на мошенничестве, и он на два года угодил за решетку. Выйдя в двадцатом году из тюрьмы, Липке прошел через своего рода метаморфозу. Он понял, что все, чем он занимался до сих пор, — мелочи: ну сколько можно взять "протэкшен" с какого-то мелкого еврейского лавочника в Бронксе или Бруклине? Сколько денег может быть в дамской сумочке, украденной в Лоэр Ист Сайд — два доллара, три, пять? С другой стороны — кругом действовали могущественные соперники, не дававшие сделать и шагу. И тогда Липке Бухгалтер открыл собственный метод борьбы с соперниками, да и вообще со всеми, с кем он хотел разделаться. Его метод был основан на применении серной кислоты, и с этим методом он не расставался до конца жизни. Серная кислота, способная мгновенно лишить человека глаз и изуродовать лицо, наводила ужас на врагов Липке, и одно сознание что он может употребить ее, заставляло выполнять все его требования.

Первым объектом своего "штурма" он избрал тред-юнионы. Тут он увидел возможность для наиболее безопасной деятельности — членские взносы, страховые компании, бухгалтеры, проверяющие счета, — полиция вряд ли могла что-нибудь пронюхать: все шло абсолютно легально. Но Липке додумался и еще до одной остроумной мысли — запугать не только профсоюзных боссов, но и работодателей и посадить своих людей также и в их Союз. Некоторые пытались противодействовать. Но после того, как люди Липке плеснули им серную кислоту в лицо, противодействие резко ослабло, и

работодатели вынуждены были принять условия Липке Бухгалтера и присоединившегося к нему впоследствии Меира Ланского.

Со временем деятельность Липке еще больше расширилась, и в начале тридцатых годов он созвал совещание наиболее влиятельных гангстеров Соединенных Штатов. На нем, в частности, присутствовали Джон Торио /итальянец/, Франко Стелло /итальянец/, Лаки Люциано /сицилиец/, Вениамин /"Бакси"/ Сигаль и Авнер Цвильман — "Длинный" /евреи/ и другие.

На совещании был создан подпольный синдикат — его основатели, возглавляемые Липке Бухгалтером, логично рассудили: "Зачем воевать между собой, разделим Америку, у каждого будут свои штаты, и если возникнут какие-то недоразумения, то снова созовем Совет и решим, как поступить".

И, наконец, третья, гениальная в своем роде, идея, которую осуществил Липке Бухгалтер, состояла в том, что он создал организацию, получившую название "Мёрдер Инкорпорейтед", то есть корпорация, или синдикат убийств . Липке рассуждал так: если где-то в Сан-Луи убивают лицо, вышедшее из-под нашей власти, полиции не составляет никакого труда решить, кто это мог сделать. Поэтому надо создать организацию центральную, принадлежащую непосредственно "синдикату". Если кто-то из членов "синдиката" приходит к выводу: такого-то надо убрать, то на место приезжает человек, не знающий даже, кого именно ему предстоит убрать. Так же как и его самого здесь никто не знает. Он приезжает, выполняет задание "корпорации" и восвояси уезжает — такого практически невозможно изловить.

Лишь в 1941 году Липке был привлечен к суду за убийство шофера-еврея Иосефа Розена, который был у Бухгалтера водителем грузовой машины. 4 марта 1944 года на электрическом стуле в тюрьме "Синг-Синг" Бухгалтер закончил свою поистине блистательную карьеру.

А как чувствовали себя эти гангстеры в американском еврейском мире? Нужно сказать, что отношение к ним со стороны еврейской общины было двоякое. Конечно, официально община никогда не поддерживала их. Но надо учесть, что

Гибель Бениамина /"Бакси"/ Сигала.

конец 20-х и начало 30-х годов были в Америке временем разгула антисемитизма. Он поощрялся в то время такими людьми, как Генри Форд или знаменитый летчик Линдберг.

В начале тридцатых годов в Америке был создан наци-бунд — "Бунд дер америкэнишен нацистен" немецкого происхождения, в это же время очень активно действовал Ку-Клукс-Клан. И тогда еврейским общинам пришлось — конечно, неофициально — прибегнуть к помощи таких организаций, как "Мердер Инкорпорейтед". Ее люди разгоняли антиеврейские сборища американских нацистов, ку-клукс-клановцев — и ни наци-бунд, ни Ку-Клукс-Клан не могли им противостоять. Еврейские гангстеры оказывались намного сильнее.

В последнее время резкое возмущение в прессе вызвал тот факт, что министр внутренних дел Израиля, доктор Бург, дал разрешение на въезд в страну уже упомянутому мной знаменитому в прошлом гангстеру Меиру Ланскому. С точки зрения общепринятой морали подобные ему люди, возможно, и вызывают возмущение. Но нужно помнить, что еще в недалеком прошлом Израиль неофициально прибегал к помощи таких людей, как Меир Ланский. Я не упоминаю имена, но я упоминаю факты. Когда во время войны Судного дня срочно грузили амуницию и оружие для израильской армии, вполне мог бы произойти взрыв в одном из портов или на каком-то из пароходов. На огромные арабские деньги вполне могла быть устроена забастовка. Почему-то в портах никто и никогда не повредил ни одной партии оружия и амуниции, посылавшихся в Израиль. Почему-то эта погрузка всегда велась вне очереди и вне нормы. Вот тут-то официальный Израиль и прибегал к помощи таких людей, с которыми, может быть, не очень приятно появиться в обществе. Но эти люди были искренними друзьями Израиля. Поэтому мне, как еврею и израильтянину, кажется, что иногда их стоит помянуть и хорошим словом.

Сегодня трудно представить насколько беззащитны были в Америке целые еврейские районы в начале тридцатых годов. Как и трудно представить, к каким бы зловещим для

Израиля результатам мог привести даже незначительный срыв военных поставок из портов Америки.

С другой стороны, даже если отбросить в сторону национальные пристрастия, на этом примере мы еще раз видим, сколь неоднозначно предстают перед нами многие явления современности, как трудно бывает, в сложнейших социально-политических хитросплетениях, отделить черное от белого, добро от зла.

Часто спрашивают: а какая связь между еврейскими гангстерами, о которых мы только что говорили, с теми, кого газеты сегодня называют израильской мафией в Америке? Здесь мы оказываемся перед довольно любопытным парадоксом: гангстеры типа Меира Ланского и Липке Бухгалтера, связанные своим происхождением с русским или польским местечком, часто даже не знающие иврита,— а многие из них вообще не были в Израиле, — все они чувствуют себя евреями и неизменно испытывают к Израилю симпатии. Чего никак нельзя сказать о так называемой израильской мафии, действующей в основном в Лос-Анджелесе и других городах Запада Америки.

В большинстве случаев это преступники, которых израильская полиция решила просто сплавить за границу: доказать их причастность к преступному миру было трудно, а возиться с ними не хотелось. И вот полиция оплачивала им билет в Германию или Америку. Им говорили: "У тебя нет другого выхода — выбирай одно из двух: хочешь в тюрьму или навсегда уехать из Израиля". И они предпочитали уехать.

Строго говоря, это даже не мафия. Это люди, которые в определенном отношении представляют собой преступный мир Израиля. В своем большинстве они выходцы из стран Азии и Африки, которые или родились в Израиле, или приехали сюда с родителями, чаще всего в младенческом возрасте. Они тоже — второе поколение иммигрантов, они тоже видели, что их родители, привезенные из Марокко или, скажем, из Алжира, в Израиле превратились в дешевую рабочую силу, оказались обделенными, что их культура никем в Израиле не признавалась. Так же, как в Америке не признавали куль-

туру, привезенную из России или из Польши. Отсюда их ненависть к истэблишменту и ашкеназийским евреям — выходцам из Западной и Восточной Европы, занявшим ведущие места в обществе. Отсюда и их стремление вырваться наверх, найти свой, кратчайший путь в высшее общество. И это, наверное, то, что по-своему объединяет и сицилийскую, и американскую, и израильскую мафии. Но есть и принципиальное отличие. Члены израильской мафии, родившиеся в Израиле или жившие здесь с детства, на самом деле не имеют с ним никакой душевной связи. Изгнанные из Израиля, они ненавидят его. Для них государство Израиль — это враг. Для таких евреев, как Меир Ланский, Израиль — это Родина, они в любое время, как мы это видели , готовы прийти к нему на помощь.

Что же касается мафии в самом Израиле, то это самостоятельная тема, которая заслуживает специального рассмотрения.

Исраэль ШАМИР

ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ

Сексуальная революция и кино

В последние годы искусство приобрело новую, необычайную свободу, о которой не помышляли во времена наших дедов. Истоки ее — в переживаемой нашей эпохой сексуальной революции, она видна во всем: в новых формах брака, в свободе любить, свободе разводиться и сходиться, в приятии всего человека — таким, как он есть.

Можно сказать, что сегодня, впервые за сотни лет, большинство современников наших не считает плоть греховной, "ловушкой дьявола", которой потрафляют только те, кто не может иначе. Сознательно или бессознательно человечество покончило с пагубным влиянием ессеев, одной из крайних иудейских сект, предшественниц христианства — проповедовавших аскезу и умерщвление плоти. Христиане восприняли это учение целиком, и идея греховности плоти стала одной из основных в западной цивилизации. И по сей день эта идея не исчезла, но лишь отступила и привела к таким странным феноменам, как американское феминистское движение с его пуританизмом наизнанку. Но об этом ниже.

Свобода показывать всё в наши дни распространилась необычайно, охватив все виды плотских радостей — от супружеского соития до случайного совокупления, до содомии и скотоложества, до садизма и некромании. Причем, поскольку речь идет о искусстве и о его языке, оказалось, что таким образом можно передать совершенно различные вещи, в зависимости от таланта и культурных корней автора, от культуры его страны. В соитии ничего простого нет. По словам знаменитого антрополога и культуролога Маргарет Миид, это — один из сложнейших культурных актов, который, впрочем, воспринимается по-разному в разных странах.

Сексуальная революция началась с концом шестидесятых годов. Можно сказать, что шестидесятые были слишком "веселы", несерьезны, чтобы на чем-либо сконцентрироваться. В шестидесятых еще искали выхода для всего общества, а не для одиночек.

Сравнение эпох — пустая затея, но если уж идти по этому пути, то можно сравнить Запад наших дней с Россией между революцией 1905 года и Первой мировой войной 1914-го.

Наша "проигравшая революция" разразилась в конце 60-х годов. Консервативные силы победили всюду, общество пошло по пути индивидуализма, как и в России в те дни, наступил "серебряный век" в искусстве. Снова, как и тогда, появилась "проблема пола", как сказал Саша Черный: "Проклятые вопросы /конечно, социальные/, как дым от папиросы /нигилиста/, рассеялись во мгле /реакции/, пришла проблема пола, румяная фефела и ржет навеселе". Это же произошло и на Западе, когда "революция" перекинулась на область секса, единственной свободы нашей, которой тиранам не отнять, банкам не описать, налогом не обложить и на которую странам ОПЕКа цен не повысить.

Наступивший период можно смело назвать периодом реакции, но и этого слова не стоит бояться — реакция на руку искусству, занятию декадентскому.

В искусстве же главный натиск времени принял на себя кинематограф, так как проза — дело вечное, и лишь в кино решаются сегодняшние задачи. Кино оказалось перед главной проблемой — что делать с вновь обретенной свободой? Где-то в начале 70-х была пробита цензура, и стало возможно впервые в истории ставить подлинно откровенные фильмы. Но тут скрывалась ловушка.

Проблема эротики в кино ясна каждому, кто видел хоть один порнографический фильм. Эти фильмы обычно скучны и монотонны, потому что с визуальной точки зрения половой акт довольно однообразен. Особенно, если смотреть на него холодными глазами марсианина из известного анекдота — марсианин спрашивал любовников, почему они спешили под конец, если дети все равно родятся лишь через 9 месяцев. В этом достойном занятии лучше быть участником, чем зрителем. Похоже, что барьер "визуальной неинтересности" был преодолен лишь в наши дни, когда возможность использовать новый язык эротики привлекла крупных режиссеров. Каждый из них заговорил на этом языке о чем-то своем. Когда эротика в кино становится фактом искусства? Когда без нее не обойтись для выражения идеи режиссера. Ведь во многих фильмах появлялись отдельные эротические сцены, которые, однако, не несли смысловой или эмоциональной нагрузки. То, что они показывали крупным планом, можно было показать лишь намеком, как 10 лет назад, без всякого ущерба. Появились, однако, фильмы, освоившие новые области духа благодаря новой свободе. О них и пойдет речь ниже.

ЛАТИНСКИЕ ЛЮБОВНИКИ

Одним из первых режиссеров, создавший такой фильм, стал Бертолоччи, который своим "Последним танго в Париже" открыл новые горизонты кинематографу. Помните эту, вызвавшую целую бурю сцену, когда стареющий Марлон Брандо овладевал героиней в нарочито унизительной для нее позе /в знаменитой сцене с маслом/, бормоча и выкрикивая богохульства. В глазах зрителя — по крайней мере думающего зрителя — эта сцена не содержит и грана порнографии, но был тут бунт героя против Бога, отнявшего у него жену и молодость.

Все прочие элементы фильма — анонимность героев по отношению друг к другу, их суперслучайная связь, внезапно становящаяся столь важной для героя, на самом деле глубоко традиционны для любовной драмы определенного сорта. Банализируя идею до беспредельности, можно сказать, что "от любви не уберечься", она может принести жизнь и смерть даже в выжженной пустыне случайной встречи. Во всех сценах соития видно нежелание Брандо попасться на удочку любви, приязни, симпатии — он не хочет даже сказать свое имя, в постели он мстит женщинам, но женщина в конце концов побеждает, чувство берет верх, и он погибает.

Последний фильм Бертолоччи, "Ла Луна", конечно, не мог бы возникнуть пятнадцать лет назад, когда дети не могли играть эротических ролей и когда Кубрику пришлось снимать в роли Лолиты практически взрослую актрису. "Ла Луна" — это ответ Фрейду, кинорешение загадки Эдипова комплекса: существует ли безудержное и подавленное плотское влечение сына к матери и стремление сына убить отца?

В фильме героиня-примадонна бросает мужа и отца своего ребенка, выходит замуж вновь, добивается славы. Узнав, что ее сын колется героином, она пытается всем своим женским умением вновь добиться его любви, но тщетно.

Впрочем, мать и не хочет его плотской любви, она просто не знает другого пути вернуть сына. Но и сын несчастен, хотя, казалось бы, что еще нужно молодому Эдипу? Мы понимаем, что Бертолоччи дает неожиданный ответ фрейдизму: оплеуха отца приносит сыну больше счастья, чем ласки матери. Эдипова комплекса нет. Сыну нужен отец, а не объятия матери. Жене нужен муж, а не сын, как его суррогат.

ЯПОНСКИЙ БЕРТОЛОЧЧИ

Следующий шаг сделал крупнейший японский режиссер, создатель — вместе с Шинодой и Йошидой — новой волны японского кино, Ошима Нагиса — своим скандальным фильмом "Империя чувств" /по-японски фильм назывался "Коррида любви", но Ошима испугался распространять фильм под

таким названием в Европе — вдруг придут любители настоящей корриды и расстроятся/. Его фильм был запрещен в Англии, урезан в Японии, его не разрешили даже ввезти в Бельгию и Германию, но во Франции и в Америке он привлек массы зрителей.

Фильм Ошимы был не менее порнографическим, чем, скажем, "Глубокая глотка", прославившая Линду Ловлас /против него было возбуждено уголовное дело за порнографию/, но он был еще и гениальным творением.

Сюжет фильма основан на подлинной истории, происшедшей где-то в тридцатых годах в Японии: проститутка или почти проститутка Сада убила от бешеной любви своего сожителя и отрезала его член — все с его согласия. Японцев еще тогда потрясла и восхитила эта история — поэты писали стихи о Саде, ей посвящены рассказы и пьесы. Японцев привлекла сила ее страсти, ее простое и кровавое выражение.

Удивительным было, однако, то, что "Империю чувств" поставил Ошима. Его предыдущие фильмы были хорошо известны завсегдатаям синематек и киноклубов от Лондона до Токио, среди них не было плохих или слабых, начиная с его раннего "Повешения" — несколько брехтианского обличения смертной казни. Ошима выступал против милитаризма, защищал корейцев, одно время он был членом КПЯ, пока его не исключили за левизну.

Поворот "японского Бертолоччи" — как его называет пресса, — от политических фильмов к эротике /Ошима, впрочем, предпочитает термин "порнография", по его словам, "эротика — для буржуазии, порнография — для пролетариата"/ был явлением удивительным. Однажды я спросил его, что вызвало в нем такую перемену, и он ответил так: "Я не изменился — изменились времена".

Фильм "Империя чувств" по праву можно назвать знаменем эротической революции. В нем эрос не использовался для выражения других чувств, как у Бертолоччи, он триумфально заявил сам о себе.

Когда я увидел этот фильм несколько лет назад в Латин-

ском квартале, я подумал: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда".

Ошима поставил, возможно, первый в истории киноискусства подлинно эротический фильм, про безумную чувственную страсть, неприкрытую ничем, — ни общими интересами, или их видимостью, ни инстинктом продления рода, ни семейными узами. На протяжении двух часов герои почти не покидают постель, в ней они вовсе не ведут бесед и не тратят время попусту. Страсть их достигает такого накала, за границей которого их только и может ждать смерть. Эта смерть очевидна и неизбежна, хоть ее приближение мерно и неторопливо. В чем-то зритель уподобляется завсегдатаю цирка, ждущему падения акробата с трапеции. Несмотря на статичность декораций, фильм полон динамики — поначалу мы видим легкую любовную игру, покорность героини, безразличие ее любовника, затем напряжение нарастает. Контрапунктом проходят постельные упражнения героев со всякими приходящими и уходящими гейшами, стариками, служанками — герои пытаются найти замену, эквивалент их небывалой страсти друг к другу. Но это не удается, и происходящее возвращает нас на уровень Бертолоччи — страсть указывает не на себя самое, а на что-то другое — на отсутствие любви, например. Это различие между эротическими эпизодами и основной темой указывает на то, что речь идет о подлинной страсти, а не о разврате или нимфомании. Тут уместно сравнить фильм Ошимы с популярной современной эротикой, например, с французской "Эмануэль". "Эмануэль", как и любая расхожая эротика /для буржуазии, как говорит Ошима, для мещан, как сказали бы мы/ основана на предположении, что подлинную страсть не покажешь, а вот любовную акробатику — небывалые позы, небывалые сочетания, красивые тела на красивом фоне — показать легко. В таких фильмах любая интрига, любая новинка идет в счет, не отделяясь от "основной темы" — с кем бы героиня ни была близка — с любовником ли, с ослом ли, с десятком евнухов, — функционально это безразлично.

В "Империи чувств", идя на близость с посторонними,

герой и героиня поначалу испытывают неловкость, ощущение: "Это не то", но затем все меняется. Их страсть превращается в подлинную святость, они излучают столь чистую эротику, перед нами такой гимн чувственности, что, кажется, того и гляди, в водоворот страсти попадут даже неодушевленные предметы, даже окружающие их столы и стулья... И в этом состоянии, даже когда они изменяют с другими, это воспринимается как новый способ любить друг друга. Например, герой овладевает старой гейшей на глазах возлюбленной, и возлюбленная погружается в любовный экстаз одновременно с гейшей. При таком разгоне страстей фильм превращается в Житие Святых /по Жене/, он уподобляется причастию, и плотская страсть одухотворяется, становится романтически возвышенной и поэтичной.

Ясно, что такая страсть не может не привести к смерти — смерть душит медленно, с упоением, герои отдаются ей, и сам акт смерти тоже тождествен акту любви. Но зачем потом это полосование тела, когда кровь течет из-под ножа Сады на японские циновки-татами, под звуки ритуальной японской музыки? Не означает ли этот традиционный японский стиль убийства, что японцы более жестоки, чем европейцы, да, может, еще и гордятся этим? Ошима дал на этот вопрос неожиданный ответ: "Все из-за разного отношения к оружию. Европейцы традиционно использовали колющее оружие, а японцы — режущее, поэтому европейцам кажется, что заколоть кинжалом — это комильфо, а располосовать тело, как при харакири — или как в моем фильме — это уже жестокость".

А ЧТО В АМЕРИКЕ?

Сколь это не покажется странным, но в Америке, первой проложившей дорогу полнометражным порнографическим фильмам /вроде "Глубокой глотки"/, не возникло интересного эротического кино. Пуританская традиция Америки привела к совершенно необычной реакции, я бы сказал, к пуританизму наизнанку.

Ярче всего это выражено в опубликованном несколько лет

назад Отчете руководительницы Феминистского исследовательского центра Шеа Хайт о женской сексуальности. Отчет был составлен на основе опроса нескольких тысяч американок. Хайт разослала сто тысяч анкет с вопросами вроде: "Что больше всего доставляет вам удовольствие а/ мужчина, б/ вибратор, в/ женщина" и т. д. Ответили ей около трех тысяч женщин, по язвительному замечанию Лесли Геддс-Браун из лондонской "Санди таймс", — "те, кому не везло в постели, и кто оказался с конвертом и маркой под руками". Отчет подводил к выводу, что для полного счастья и удовлетворения женщинам вообще не нужны мужчины. Многим феминисткам половой акт представляется унизительным, приносившим удовлетворение мужчине, но не женщине. Поэтому куда лучше было перейти на вибратор.

Составительница Отчета Шеа Хайт назвала это "подлинным освобождением от мужского господства". Другой предлагавшийся выход /хоть и похуже!/ — лесбийская любовь. По словам Хайт это, во всяком случае, лучше, чем быть машиной для производства детей или лежать под мужчиной. Судя по Отчету, американок почему-то расстраивает сам факт лежания внизу, так как он связывается с идеей господства мужчины. Джилл Твиди написала об этом в английской газете "Гардиан": "Отчет Хайт указывает, что только женщины, дающие мужчинам точные и ясные указания, что и как делать, получают удовольствие в постели. Казалось бы, можно намекнуть, вместо того, чтобы давать суровые инструкции. Но американкам, ответившим на вопросы Шеа Хайт, явно не везло в коммуникации с партнерами. Так, некая жена грустно пишет, что ей хочется только одного — чтоб ее целовали в затылок. Но сколько она не просила об этом — ее затылок так и остался "девственным".

Понятно, что Отчет Хайт не является репрезентативным — ни статистически, ни социологически. Но он, как флюгер, указывает на модное веяние — американские феминистки все чаще готовы предпочесть мастурбацию плотской любви. Этот факт можно объяснить, видимо, и общей неэротичностью американской жизни, ее долларовым прагматизмом, отчужденностью между людьми и жизнью в пригородах, где общение между людьми среднего класса сводится почти на нет. Что еще делать бедной домохозяйке в таком пригороде? Погулять она не может — вокруг никто не гуляет, она едет на машине в супермаркет и снова никого не встречает, город далеко, да и небезопасно там, не с кем перекинуться словом — вот и остается... вибратор.

В американском кино даже эротические моменты постепенно исчезают. По-видимому, из-за той же немодности секса. Жаль, потому что один фильм так и остался неснятым до наших дней, а сейчас его могли бы снять — я имею в виду Лолиту. Ведь Лолита Кубрика куда старше Лолиты Набокова, она даже не нимфетка, а просто юная девушка, потому что в те дни, когда Кубрик снимал свою "Лолиту", нельзя было, повторяю, и подумать о съемках с девочкой-ребенком. Сейчас это возможно, но интерес к сексу пропал. Кто знает: может быть, Ошима снимет "Лолиту" на японский манер, он, вероятно, смог бы.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕВОЗМОЖНОГО

Ну, хорошо, Ошиме удалось сделать захватывающий фильм о сексе. Но и в случае творческой неудачи этот фильм был бы разве что скучным, но не хуже. Гораздо более сложной является задача реализации в искусстве вещей, омерзительных для нормального человека.

В литературе она уже давно решена — воспел падаль Бодлер, и ничего. Но пойди, покажи труп лошади крупным планом в кино — зрители тотчас разбегутся. Я сам убежал через пятнадцать минут после начала фильма Пазолини "Сало или 120 дней Содома", когда герои стали есть собственные испражнения. Все же и эта задача может быть решена, как я убедился, увидев в Лондоне, в театре "Раундхауз" современный балет по роману Жана Жене "Нотр Дам де Флёр" — "Богоматерь цветов".

Жан Жене — один из самых тонких, сложных и замечательных писателей нашего века — вырос в тюрьме, был уголовником, и свой шедевр "Богоматерь цветов" написал на обер-

точной бумаге, сидя за решеткой. Надзиратель нашел рукопись и бросил ее в печку. Жене написал роман заново. Он вышел в свет в 1943 году и принес автору мировую славу. Сартр сравнивал его со всеми святыми и с Богом.

Книга Жене восхитительна, но не может не шокировать — в ней показаны страсти странного мира коксинелей /мужчин, решивших стать женщинами-проститутками/ и их возлюбленных — воров и бандитов. По сравнению с "Богоматерью цветов", "На дне" Горького кажется салонной пьесой из жизни высшего общества. У Жене нет даже намека на существование иной жизни. Мы попадаем в замкнутый и самодовлеющий мир — порождение и истоки тюрьмы. "Запах тюрьмы — это запах мочи, формалина и краски. Я узнал его во всех тюрьмах Европы и понял, что этот запах станет запахом моей судьбы", — пишет Жене.

Весь роман — сексуальные фантазии заключенного. Одни и те же сцены повторяются по-разному, как бы для проверки, какой вариант больше будоражит.

Кого же представляет себе онанирующий автор-герой? Понятно, что не Мэрилин Монро и не девушку из соседнего дома — в его тюремном прошлом нет женщин. На стену камеры он наклеивает 20 вырезок из газет — фото молодых, красивых убийц.

"Когда газеты попадают в мою камеру, с их лучших страниц уже обобраны их лучшие цветы — коты /сутенеры/ — как из майского сада, большие, твердые, несгибаемые коты, их члены в полном цвету". Но герою Жене хватает того, что есть: "Левая рука сжимается, затем пальцы образуют полый орган. Он сначала сопротивляется, затем отдается, раскрывается, и мощное тело отрывается от стены, приближается и падает на меня, прижимает меня к моему соломенному матрасу, запятнанному сотней зэков, и я думаю о счастье, в которое я погружаюсь, и Бог, и ангелы Его здравствуют". Он ощущает "Вечность в форме кота", "кот — как младенец Христос в яслях", и "выблеванная кровь его — как кровь Святого сердца Иисуса".

Но как передать это зрительно? Как показать, что роман написан с безумной страстью, вожделением, абсолютной внутренней нормальностью /ненормальность по отношению к обществу и нормам его ничего не значит — автор обязан быть нормален по отношению к самому себе/. Ведь никого уже не смущает вожделение Гумберта Гумберта к "беленькому носочку Лолиты". В 50-х годах, по Жене, был снят фильм, обернувшийся, по-моему, полной неудачей — съемки в мрачных камерах, серость, угнетающая нас, но не героев атмосфера, не дали возможности озарить внутренним светом страсти заключенных. Если скучно смотреть на охваченную любовными судорогами пару, то смотреть на онанирующего зэка и вовсе неинтересно — разве что режиссер сможет заразить нас его страстью, а этого в фильме не получилось.

То, что не смог сделать фильм, сделал балет, под руководством одного из талантливейших танцоров и режиссеров — Линдсея Кемпа. Балет начинается странными судорогами прожекторов и грохотом оглушительной спазматической музыки — как будто сотрясаясь все здание участвует в этом гимне страсти, охватившем заключенных. В цвете, свете и движении это внезапно приобретает смысл.

В центре балета — три фигуры, и все три равно привлекательны для автора: роскошный кот, стукач и вор Милый, молодой вор и убийца "Богоматерь цветов" и Божественная — коксинель-проститутка, апофеоз женственности этого мира, ее и танцует сам Линдсей Кемп.

Одна из самых кошмарных сцен балета — венчание Милого и Божественной. Он в черном фраке и крахмальной сорочке с лицом сказочного принца, она — под белой фатой, вокруг — чудовищные создания, которые не то стремятся уподобиться женщинам, не то пародируют их. Все подложно в этой сцене — поддельные женщины, поддельная чистота фаты, поддельное ликование гостей, осыпающих чету рисом и цветами. Но вот Милый и Божественная остаются одни. И тут Линдсей играет скромную, застенчивую новобрачную, лицо ее сияет робостью и надеждой — ну и что, если полиции она известна под мужским именем Луи? Даже упавший парик, обнажающий лысую

голову Божественной, хоть и напоминает нам о фантастичности ситуации, не обесценивает ее эмоций. Новобрачная говорит о Милом: "Я боготворю его. Когда он лежит голым, мне хочется вознести мессу на его груди".

Ни автор романа, ни постановщик спектакля не сочувствуют своим героям. То, что они такие — в порядке вещей. В их жизни и быте кем же еще быть, если не вором, сутенером и проституткой? Ничего социального в этом нет — просто речь идет о каких-то иных — как марсиане — существах. Все, что мы можем понять, это то, что они невероятно желанны автору. Совершается чудо искусства — сила и искренность желания этих монстров передаются, как электричество. Автор совершенно не идеализирует своих героев. Они не знают верности, они абсолютно жестоки и абсолютно вульгарны. Полиция предлагает Милому стать стукачом: "Он согласился. Милый любил закладывать людей, потому что это обесчеловечивало его". Милый приодевается: "Но мы не наряжаемся только для себя, и Милый одевался для тюрьмы. С каждой новой покупкой он представлял себе, какое впечатление это произведет на его будущих сокамерников в Санте. Тюрьма — это своего рода Бог, нечто варварское, как Бог, и ей он приносил в жертву золотые часы, авторучки, кольца, платки, шарфы и туфли". Божественная погибает, и Милый приходит на похороны. "Его чувства у гроба? Никаких. Он уже не помнил Божественной". Жене любит своих героев так, как не грезилось и Уолту Уитмену: "Если он скажет: "Упала жемчужинка" — это значит, что он очень мягко, очень тихо пукнул. Подивимся тому, что это и впрямь напоминает матовую жемчужину — переливание и приглушенность лежат в той же молочной дымке, что и матовость жемчужины. Это превращает Милого в драгоценного альфонса, индуса, принцессу, пьющую жемчуг. Запах, который он беззвучно распространил в тюрьме, матов, как жемчуг, окутывает его, окружает нимбом с головы до ног, отделяет его от мира".

Линдсей Кемп прекрасно передал эту беспредельную вульгарность. Вот к Божественной во сне спускается архангел Гавриил. Они танцуют счастливый дуэт, затем архангел дает

ей прикурить — шикарным воровским жестом пляжной шпаны он вынимает зажигалку из-под плавок. Или еще — настоящая проститутка пытается увлечь Милого и Богоматерь цветов — она садится, расставив ноги и поворачивается вслед за ними — не то, как цветок за солнцем, не то, как бы ведя их под дулом револьвера.

Жан Кокто отозвался о Жене: "Жан Жене — великий поэт. Он моралист, что не следует путать с морализующим писателем". Жене действительно не морализует. Он занимает важное место в современной литературе и вписывается в ее пейзаж — на ум приходят "Поминки по Финнегану" Джемса Бойса и романы Луи Фердинанда Селина, сказавшего, что "во Франции живут два настоящих писателя — Жене и я".

Первоклассный английский критик Филипп Тойнби очень точно подытожил моральное достижение Жене: "Современных авторов часто винят в свержении благородного и достойного с пьедестала, но Жене как по волшебству сотворил красоту из того, что обычно считается низменным".

Линдсею Кемпу удалось найти в танце, музыке и движении эквивалент прозе Жене, со всей ее символикой, поэтичностью и прямотой, одновременно прекрасной и отталкивающей. Кемп — потрясающий танцор и хореограф. В его группе участвуют обычно только мужчины, но в постановке "Саломеи" /Саломею играл Кемп/ танцевали и несколько женщин. Рядом со сверхженственностью Кемпа они казались грубыми и мужеподобными. Это напомнило мне, что до недавнего времени японки учились женственности у мужчин, игравших женщин на сцене Кабуки — те были как бы профессиональными женщинами, а настоящие женщины — только любительницами.

Можно сказать, что водораздел между порнографией 60-х и 70-х годов лежит в несерьезности, шутливости первой. В те времена ко всему, в том числе и к сексу, относились несерьезно — ломая традиции и барьеры, ликвидируя цензуру, либерализуя искусство, революционеры 60-х годов помогли создать откровенный язык современного кино, но они сами не умели выразить на нем общечеловеческие проблемы. Люди 60-х

годов назвали наше время периодом реакции. Интересно, что В нашем десятилетии поднялась звезда стран оси: Германии-Италии-Японии — во всем, в том числе и в искусстве, в то время, как в странах-союзницах: Англии, Америке, Франции — начался спад. Водораздел Второй мировой войны, видимо, не был случайным, он был вызван различной психологией народов.

И вот в период "реакции" художники стали использовать достижения прошлого, но уже в своих целях. Выросло новое поколение, не помнящее те дни, когда "Лолиту" или "Любовника Леди Чаттерлей" нельзя было напечатать, не помнящее дни до марихуаны и джинсов, поколение, которое воспринимает все результаты бунта 60-х как норму жизни — конечно, в ослабленном, массовом варианте. И для них и для их потомков приходится создавать новое искусство.

По многим причинам в России произошло страшное отставание. Обыщите все романы Солженицына и найдите у него хоть одну фразу, так выражающую сущность тюрьмы, как "Запах тюрьмы — это запах мочи, формалина и краски... этот запах станет запахом моей судьбы" у Жене. Русская лагерная проза бедна и старомодна, как картины передвижников. Странно писать новое "Не ждали", когда уже написаны картины Гогена.

Эмигранты вышли из затхлого мира копий позавчерашнего искусства, и сейчас они проходят период кризиса. Общий консерватизм нашего времени, по сравнению с 60-ми годами, создает иллюзию легкости вживания в эту новую жизнь. Но эта легкость — кажущаяся, потому что речь идет о следующем витке диалектической спирали: сегодняшняя реакция Запада — дочь революции 60-х годов, а не чудом сохранившаяся царевна Анастасия. Это в особенности видно в области искусства, и, в частности, в его акценте на внеобщественное, сугубо личное и интимное.

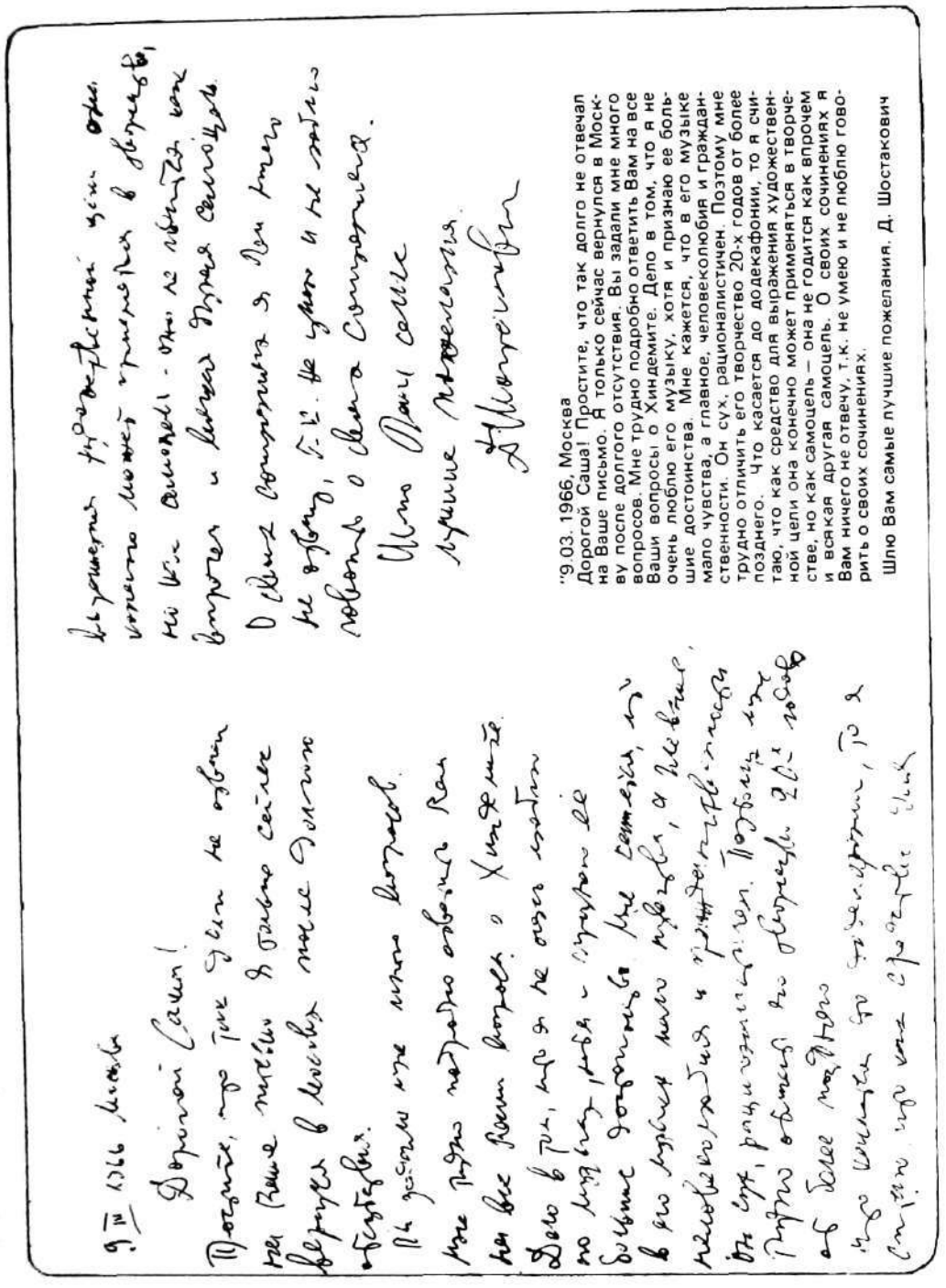
Я не сомневаюсь, что человека — личность, а не общественное животное — можно было увидеть и в ГУЛаге, не только в тюрьме Санте, но наши модные писатели не увидели его. Впрочем, будем надеяться, что массовая эмиграция, оказавшаяся в Америке, Франции, поможет русскому искусству "догнать" западную культуру, разработав язык, эквивалентный языку современных западных мастеров.

Фаина БААЗОВА

ПРОКАЖЕННЫЕ

Вышла в свет книга Фаины Баазовой. Автор — юрист и публицист, в прошлом видный советский адвокат, рассказывает о трагической судьбе, постигшей ее семью, семью основателя сионистского движения Грузии и одного из лидеров русского сионизма раввина Давида Баазова. Действие развертывается в Москве, Ленинграде и Тбилиси. Фаина Баазова пишет о трагической гибели в сталинских застенках своего брата, замечательного еврейско-грузинского писателя Герцеля Баазова, о своем жестоком поединке с советским "правосудием" в Москве и Тбилиси для отмены смертного приговора, вынесенного ее отцу Давиду Баазову. Документальный, взволнованный рассказ Фаины Баазовой о ее хождениях по мукам приобретает еще особый интерес потому, что это уникальные в своем роде мемуары знакомят читателя с неизвестными фактами из жизни Советской Грузии в трагические годы сталинских пятилеток.

Стоимость книги — 4 доллара /или соответственно курсу в лирах/. Книгу можно заказать и чеки высылать по адресу: Хулон, ул. Аронович, 47/36 /Фаина Баазова/, тел. /03/84-98-53.



"9.03. 1966, Москва
Дорогой Саша! Простите, что так долго не отвечал на Ваше письмо. Я только сейчас вернулся в Москву после долгого отсутствия. Вы задали мне много вопросов. Мне трудно подробно ответить Вам на все Ваши вопросы о Хиндемите. Дело в том, что я не очень люблю его музыку, хотя и признаю ее большие достоинства. Мне кажется, что в его музыке мало чувства, а главное, человеколюбия и гражданственности. Он сух, рационалистичен. Поэтому мне трудно отличить его творчество 20-х годов от более позднего. Что касается до додекафонии, то я считаю, что как средство для выражения художественной цели она конечно может применяться в творчестве, но как самоцель — она не годится как впрочем и всякая другая самоцель. О своих сочинениях я Вам ничего не отвечу, т.к. не умею и не люблю говорить о своих сочинениях.
Шлю Вам самые лучшие пожелания. Д. Шостакович

"Потомки будут завидовать нам, что мы жили в одно время с автором Восьмой симфонии, могли встречаться и разговаривать с ним. Они постараются собрать как можно больше сведений о его жизни и творчестве. И они, наверное, будут сетовать на нас за то, что мы не сумели зафиксировать и сохранить для будущего многие, характеризующие его, мелочи, увидеть в повседневном неповторимое, и потому особенно дорогое, и оценить в должной мере историческое значение нашего великого современника".
/Евгений Мравинский "Тридцать лет с музыкой Шостаковича"/

А. АБРАМОВ

МОЩЬ И ИНФАНТИЛЬНОСТЬ ГЕНИЯ

/К выходу в свет мемуаров Дмитрия Шостаковича/

1

Каждый создатель художественных ценностей совмещает в себе как бы две личности — творческую и "эмпирическую". Отношения между ними подвижны и "разворачиваются" в диапазоне от почти полного тождества до острого противоречия. Однако во всех случаях сохраняется единство тождества и различия. Отсюда — как бы ни были похожи между собой лирический герой и автор, всегда имеются отличия, несоответствия. И наоборот — как бы ни противоречили характер и поведение автора "образу", воплощенному в его произведениях, всякий раз наличествуют те или иные общие, объединяющие творческую и эмпирическую личности свойства.

Интерес к "облику" великих творцов свойствен не одним лишь любопытствующим обывателям, а и историкам, социологам, философам, искусствоведам, психологам, психиатрам, подчас куда более дотошным, нежели какая-нибудь

старушонка-лифтерш а из парадной, по которой каждый день проходит великий человек.

Статистические обобщения, полученные в результате исследований жизни гениальных людей, позволяют выявить определенные социально-психологические закономерности, скрытые за нехитрыми метафорами типа "Пророки и Толпа", "Герои и Масса" и т.п.

Обычно происходит следующее. На протяжении почти всей истории при жизни гений преследуется. В более жесткой или более мягкой форме. Властью или обывательским окружением, если не физически, то психологически. Всю жизнь гения окружают невежество, лицемерие, злоба, смех, недоверие и ненависть тех, кому он хотел добра. Вспомним Бетховена, Шуберта, Малера и многих других. За создателем экзистенциалистской философии Сереном Къеркегором мальчишки бегали по улицам, кидая в него камни и крича "или-или"* /"Ну, сумасшедший, что возьмешь?!"/.

Свое творчество гений воспринимает как глас одинокого и непонятого человека, взывающего к глупой, равнодушной толпе. Отсюда и столь дорогие его сердцу метафоры — "человеческая комедия", "стадо баранов", "Проповедь Антония Падуанского рыбам"**, "человеческий муравейник" и т.п. /Отсюда же и трагическая ирония, знаменитый "смех сквозь незримые миру слезы". Отсюда и сумасшедшие — чацкие, лермонтовские пророки и подобные им бедные "гадкие утята."/

Затем, когда гений отходит в лучший мир, все меняется, поворачиваясь на сто восемьдесят градусов. Гадкий утенок признается красавцем-лебедем, тщательно выясняются и любовно собираются все, какие только удавалось раздобыть, детали его биографии и приметы внешнего облика, имена и характер его любовниц и т.п. В дальнейшем собранная информация или сервируется, образуя мумию, лишенную почти

* "Или — или" — так называется самое большое из сочинений великого датчанина.

** Послужившая Малеру "моделью" для одной из частей его 2 симфонии.

всего человеческого, или обыденное сознание начинает сюсюкать и смаковать даже и те черты и поступки гения, которые по любым нравственным критериям никак не назовешь порядочностью.

Всякое бывало и в жизни гениев. Маятник переходит из одного предельного положения в другое. Закон маятника. Закон недиалектического мышления. При умильном любовании мещанская толпа отнюдь не забывала подбрасывать хворост в костер очередного гения-еретика, по поводу которого дети или внуки начинали вскоре столь же сентиментально сюсюкать: "Ах, какой он был хороший! Какой добрый! Какой гениальный! Какой простой!"

"Да как им не стыдно было, да как "они" смели говорить и писать такое?! О ком? — О Бетховене! Что у них, ушей, что ли, не было?!", — негодующе восклицает нынешняя "широкая публика", читая популярные брошюры о музыке и филармонические програмки. Были у них уши. И не было. И не будет. Имеющий уши — да услышит.

Я хорошо помню то переходное время, когда престарелый уже и больной Шостакович быстро превращался в глазах публики из "гадкого неуклюжего утенка" в грациозного, изящного лебедя. Впрочем, сам Дмитрий Дмитриевич, выходящий на поклон к аудитории после триумфальных очередных премьер, мало ассоциировался с вышеназванной царственной птицей, оставаясь в своих телодвижениях все таким же неуклюжим, как и прежде. Но почти все в до отказа набитом зале уже тогда понимали, чувствовали смысл совершавшегося на их глазах.

...Вот с кресла на пятом ряду с немалым трудом /последствия не вполне отошедшего паралича и ноги больные/ поднимается в черном пиджаке, опираясь на ручку кресла, столь знакомый по фотографиям и портретам, человек, кто уже при жизни сравнивается с Шекспиром, Микеланджело, Рембрандтом, Достоевским*. Медленно, неловко, с ненормально под-

* На Западе подобные сопоставления делались еще в 1944 г., после исполнения 8 симфонии, то есть до появления 10, 14,15. Западная премьера этого сочинения, состоявшаяся в Нью-Йорке под управлением

нятыми, вздернутыми плечами, идет по проходу, иногда поднимаясь на сцену, иногда нет... Поворачивается к публике, кланяется... Стоящие близко слушатели кажутся почти загипнотизированными его полными невыразимой печали глазами, нервно трясущимся подбородком. Глаза Шостаковича в это время и вправду бывали поистине замечательными, а их выражение — столь же полифоничным, многозначным, как и его музыка: безмерная усталость, скрытое страдание, безысходность, почти отчаяние, опыт старика и мудрость мыслителя, и что-то от ребенка, и еще какая-то робость, стыдливость, растерянность... Может быть, из-за этих высоко приподнятых после болезни плеч и столь заметного окружающим нервного тика, из-за смущения перед большим количеством людей,— все это излучали его глаза. Ни тени улыбки, ни намека на ощущение стыдливости, столь естественное в момент торжества своих идей, не затаилось ни под веками, ни за плотно сжатыми тонкими губами. В такие минуты сам Шостакович воспринимался поклонниками его музыки, как прекрасная, почти совершенная в своем жанре скульптура,— настолько соответствовала эта фигура духу шостаковичевской музыки. Каждый интуитивно понимал, что автор 8 и 14 симфоний должен быть именно таким.

"Кто из любителей музыки не испытал на себе потрясающего воздействия грандиозных кульминаций Д. Шостаковича, — писал К. Кондрашин, — когда буквально хочется привстать в кресле, чтобы включиться во все растущий и ширящийся поток звуков?"

Кстати, действительно: гениальные трагедийные кульминации Шостаковича /есть такое понятие, специальное понятие в музыковедческой литературе/ например, в 8, 10, 11, 13, 14, 15 симфониях или 2-м виолончельном концерте почти не с

А. Родзинского, транслировалась 134 радиостанциями США. Симфонию слушали, согласно статистическим подсчетам, 25 миллионов человек. В СССР сравнения такого рода также имели место в то время /Г. Нейгауз, Б. Асафьев, С. Михоэлс/, но затем по известным причинам исчезли более, чем на десятилетие. В 70-е годы они стали уже "само собой разумеющимися".

чем сравнивать по степени эмоциональной напряженности и протестующего пафоса. Лезут на ум какие-то астрофизические, космологические аналоги вроде взрыва сверхновой звезды или первичного гравитационного антиколлапса, в результате которого возникла наша метагалактика. Кажется, будто в "кульминационной зоне" Шостакович, обладая мистическими способностями, повелевает стихиями, управляет космическими явлениями...

А сразу за кульминацией — лирическое отступление "от автора", тихая музыка непостижимой, поразительной проникновенности, подчас только один солирующий инструмент, английский рожок, например, поддерживаемый трепетной пульсацией струнных. "...Вдруг, в тишине, будто бьется одно лишь сердце и поет просто и трогательно, как глубокий родник, струящийся среди грозных, суровых скал: "А я живу",— писал Асафьев. А вот Жан-Ришар Блок:

"Да, материк Шостаковича совсем особенный — это страна для гигантов. Малейший шаг в ней измеряется верстами, обычные масштабы смещены, преобразованы соответственно какому-то новому мерилу. Поистине музыка для шестой части нашей планеты. Это земля богатырей, будь то ученые, инженеры, художники. Они невольно останавливаются, слыша этот разгул звуков, настораживаются, и вот слышится музыка необыкновенной нежности, прозрачности, — тогда эти титаны с улыбкой склоняются над ней. Атлант, на мгновение опустивший небесный свод, чтобы сорвать полевой цветок"*.

II

Нередко говорят о сейсмографичности шостаковичевской "музыкальной реакции". И это, конечно, верно. Но сейсмографичность эта никогда и ни в коей мере не являлась каким-либо спонтанным эмоциональным выплеском. Наоборот, музыка Шостаковича отличается как раз небывалым для этого вида искусства интеллектуализмом.

Это специфическое равновесие /интеллектуализма и экспрессивнейшего эмоционализма/, конечно, не возникает из

* Жан Ришар Блок. "В стране музыки".

пустоты. Оно базируется на специфических психофизиологических свойствах, возможно, обусловленных в какой-то мере генетически, — а именно, на гибком сопряжении очень большой способности к "манипуляции образами" /как определяет "мышление" А. Кэмпбелл в его "Семи состояниях сознания"/ с очень низким болевым порогом, легкой ранимостью, почти паталогической чувствительностью, неврастеничной взвинченностью, впечатлительностью. Это не удивительно, ведь, как утверждает общая теория систем, в нашем мире с увеличением развитости и сложности системы происходит пропорциональное увеличение ее "уязвимости, нежности", хрупкости. Еще Герберт Спенсер сделал вывод о свойственной большинству гениальных людей невыносливости к боли. Подобная психофизиологическая структура обычно плохо функционирует в практической, бытовой сфере. Она не пригодна для решения повседневных, обыденных задач, для адаптации в статистическом ансамбле. С такой структурой связан, между прочим, и феномен, именуемый "гамлетизмом", с его странной и непозволительно затянувшейся с точки зрения здравого смысла, рефлексией "быть или не быть."

Но этот же набор качеств парадоксальным образом оказывается благоприятной предпосылкой для решения задач совсем иного рода — для создания величайших духовных ценностей. Отсюда и сейсмографичность реакции на зло и несправедливость, и обостренная человечность, и совестливость, и страдальческая патетичность, присущие творчеству Достоевского, Шостаковича и им подобных.

Но означает ли это, что перечисленные черты обязательно и всегда проявляются и в обыденной жизни творцов? И здесь мы опять сталкиваемся с проблемой тождества и различия эмпирической и творческой личностей.

Известно, что гениальный художник или ученый часто существо не просто эгоистичное, но порой и эгоцентричное, "зацикленное" на своей миссии и на очередной, волнующей его в данный момент творческой задаче. До тех пор, пока задача не решена в общих чертах в голове и не реализована в

словах, звуках, красках, его способна раздражать любая мелочь, на которую ни один нормальный человек /как и он сам в "нормальном" состоянии/ не обратил бы никакого внимания. В период творческого искания — а у гениального человека оно может быть непрерывным — творец может впадать в состояние /да позволено будет так выразиться/ "сочинительского психоза" и превратиться в настоящего деспота, тиранящего близких, без поддержки которых он, возможно, не смог бы и продолжать свое творчество, будучи часто инфантильным и не приспособленным к жизни. /Вспомним не от мира сего чудака, способного в солнечный, теплый день выйти с зонтиком и в калошах... Но эта рассеянность, так потешающая обывателя, — обычно оборотная сторона, эпифеномен, если хотите, громадной внутренней концентрации./

Байрон был способен подолгу "дистурбировать" окружающих рассказом о том, как у него болит зуб. Вагнер любил, усевшись в мягкое кресло, плакать и говорить о том, что он, наверное, скоро умрет /прожив после этого еще сорок лет насыщенной творческой жизнью и написав на старости лет гениального "Парсифаля"/. Достоевский, будучи в Швейцарии, так помыкал слугой, что тот не выдержал и сказал: "Я ведь тоже человек". Узнав об этом эпизоде, старушка-процентщица, подложившая хворостиночку в костер Яна Гуса, наверное, искренне, со святой простотою сочла бы, что Достоевский был плохим, в отличие от нее, человеком.

Хорошим или плохим человеком был автор "Идиота"?/!/ Сам он, как известно, отнюдь не считал, что гению все позволено. Значит, думал об этом и, наверное, как-то старался сообразовываться с императивом "не все дозволено". Может быть, не всегда ему это удавалось. Возможно, он и в самом деле должен был быть всегда лучше и чище, как говорят, в назидание и для пользы юношества. Пусть судит его Бог или его высшее Я, или человек, сумевший прожить более достойную жизнь при условии, если он сделал не меньше, чем Достоевский. Мне бы лишь хотелось задаться вопросом: кто измерит тяжесть давления множества стыкующихся, переплетаю-

щихся или бегущих параллельно идей в периоды происходящего в голове гения "информационного взрыва".

Некоторые исследователи пришли к выводу, что творческий эгоизм и честолюбие являются дополнительными /к фрейдовским/ защитными механизмами. Они призваны в экстремальных ситуациях обеспечить элементарное психофизиологическое самосохранение творца в условиях почти невыносимого двойного давления внешней и внутренней информационной среды.

Байрон признавался: "Потребность писать кипит во мне и терзает меня, как мука, от которой я должен непременно освободиться". Вагнер говорил, что художественная сила "является не чем иным, как потребностью освободиться от наплыва впечатлений...", "необходимостью сбросить внутреннее бремя".

"Нелегко назвать жизнь другого художника, — пишет Томас Манн в работе о Вагнере, — на примере которой так хорошо можно было бы исследовать своеобразную жизненную конституцию гения, сочетание чувствительности и силы, хрупкости и выносливости, сочетание... являющееся источником великих созданий и, что весьма понятно, с течением времени порождающее ощущение постоянной подвластности /разрядка моя.— А.А./ некоей задаче, одаренной собственной и независимой волей. Да, здесь трудно не поверить в некую метафизическую собственную волю творческого замысла, стремящегося к осуществлению, — замысла, для которого жизнь его творца лишь орудие, лишь жертва, добровольная и в то же время вынужденная... Его терзает нервный недуг — одна из тех, не поддающихся точному определению, болезней, которые в течение долгих лет изматывают человека и грозят сделать ему жизнь невыносимой, хотя и не являются "опасными для жизни". Их жертвы имеют веские основания не веровать в эту "неопасность". Вагнер — это натура, постоянно "находящаяся на грани изнеможения, для которой хорошее самочувствие является редкой случайностью". Однако "в этом рыхлом меланхолике, чья болезнь, в сущности, являет собой лишь небюргерскую разновидность здоровья таятся огромные запасы веселости, неистощимой жизненной силы"*.

И наконец, фрагмент из статьи Томаса Манна о Достоевском:

*Т. Манн , Собр. соч., Москва, 1961, т. 10, стр. 129-131.

"Ничто так не спутывает наши биологические представления, как жизнь этого человека: он клубок нервов, его бьет дрожь и каждый миг охватывают судороги, он так чувствителен, словно с него сняли кожу и самое прикосновение воздуха причиняет ему боль... Целая орда, целое поколение восприимчивых и несокрушимо здоровых юнцов набрасывается на создание больного гения... восхищается им, восхваляет его, уносит с собой, делает достоянием культуры, которая жива не единым домашним хлебом здоровья... Болезнь!.. Да ведь дело прежде всего в том, кто болен, кто безумен, кто поражен эпилепсией — средний дурак, у которого болезнь лишена духовного и культурного аспекта, или человек масштаба Ницше, Достоевского... Творческая, стимулирующая гениальность болезнь... бесконечно дороже для жизни, чем здоровье, которое лениво тащится по прямой дороге как усталый пешеход"*.

III

Шостакович до самой смерти оставался фигурой во многом загадочной. Большинство окружавших его людей, встречавших его почти каждый день, знали о нем в каком-то смысле меньше, чем о Гете или Микеланджело. Всем было ясно, что его словесной публицистике на 99 процентов верить нельзя. Что думал он о жизни, "о времени и о себе", не в звуках — в простых человеческих словах? Неоднократно просили его написать мемуары — он отказывался, отнекивался: дескать, слушайте мою музыку — в ней все сказано. Просили помочь раскрыть смысл того или иного произведения — он переводил разговор на другую тему. Первые встречи с Шостаковичем нанесли моим надеждам сильный удар. Сколько я ни расспрашивал композитора, мне ничего не удавалось "вытянуть" из него. С таким немногословием Дмитрия Дмитриевича я сталкивался и в дальнейшем", — признается Мравинский, которому автор посвятил свою 8 симфонию.

И вот теперь, спустя четыре года после своей смерти, величайший композитор нашего времени раскрыл плотную завесу, разделявшую его звуковой и вербальный языки. Пер-

* Т. Манн, Собр. соч., Москва, 1961, т. 10, стр. 338—340.

вое, что приходит на ум, — это: "Хоть после смерти, да отомсти!" Кто бы мог подумать, что всего боящийся при жизни Шостакович "отчебучит такое" из-за гробовой доски.

Советский партийно-культурный истэблишмэнт оказался в необычайно дурацком положении. Ибо использовать обычный прием и сделать вид, что создателя "Ленинградской симфонии" в истории советской художественной культуры не существовало, практически невозможно. Совершенно естественная в этих условиях попытка объявить книгу воспоминаний Шостаковича фальшивкой — не более, чем паллиатив, хотя на какое-то время он и может сработать. Но не надолго — "масштаб" умершего, так сказать, не тот.

То, что издавший мемуары музыковед С. Волков должен считаться полноправным соавтором не своих воспоминаний — это, конечно, трудно оспоримый факт. Упорядочение бесформенного конгломерата спонтанных высказываний может изменить акцент, изъять или добавить нюанс, породить новый контекст у того или иного фрагмента. Это, однако, не меняет в данном случае существа дела, ибо композитор познакомился и с уже законченным вариантом, и, подписав его, санкционировал своими подписями, а также дарственной надписью на фотографии, копия которой дается в начале книги, вышедшей в нью-йоркском издательстве.

Конкретизация этой темы увела бы нас слишком далеко. Между тем, квинтэссенцией работы мне представляются следующие слова: — "Большинство моих симфоний являются надгробными памятниками. Слишком многие из наших людей были погребены в местах, не известных кому-либо, даже их родственникам. Это случилось со многими из моих друзей. Где вы положили надгробные камни для Мейерхольда или Тухачевского? Только музыка может сделать это для них. Я желаю написать сочинение для каждой из жертв, но это невозможно, и это есть, почему я посвящаю мою музыку им всем. Я думаю постоянно о тех людях, и почти в каждом значительном произведении я стараюсь напомнить о них другим" /стр. 156/.

Памятуя, что у Шостаковича имеются такие сочинения, как

11 и 12 симфонии, многие думали, что политическое кредо композитора чем-то близко взглядам "аутентичных марксистов" типа Роя Медведева, до сих пор разделяющего иллюзии в отношении "очищенного ленинизма". Однако ничего подобного: Шостакович отрицает и ненавидит советскую власть тотально, безоговорочно, тут нет ни единого просвета. И Ленин для него в общем-то такой же бандит, как и Сталин.

В мемуарах Шостаковича масса интересных вещей, деталей, касающихся как музыки, так и его современников — учителей, коллег, знакомых. Все это, конечно, будет предметом самого внимательного вчитывания музыковедов, композиторов, исполнителей, эстетиков. Меня сейчас, однако, интересует другой аспект работы, а именно — "эмпирический образ Дмитрия Дмитриевича Шостаковича", как он, этот образ, складывается по прочтении книги. Насколько лично Шостакович "похож" на свою музыку?

Выясняется, что, наряду с любовью к музыке, главным, самым могущественным чувством, владевшим Шостаковичем, был страх. В трех основных видах, которые не столько сменяли, сколько напластовывались друг на друга.

В молодости страх выступал в форме чрезмерной робости, стеснительности, боязни быть в компании среди чужих или не очень близких людей, обычной стыдливости "гадкого утенка" в обществе стереотипных людей.

Затем, после жесткой и несправедливой критики его балетов и оперы, прибавился всепоглощающий страх перед арестом. В 60—70-е годы Шостакович обуреваем страхом неумолимо приближающейся смерти: в загробную жизнь он абсолютно не верил, парапсихологической и философско-религиозной литературы на подобные темы совершенно не знал.

Чтобы хоть как-то, если не заглушить, то смягчить этот "метафизический" страх перед жизнью и смертью, Шостакович обращался к помощи разного рода психозащитных механизмов: алкоголю, моделированию самоубийства. Защищаясь, он использовал маску юродивого, пробуждал в себе честолюбие. Может быть, благодаря всему этому композитор дожил /с

полным сохранением своих творческих способностей/ почти до 69-летнего возраста.

К помощи алкоголя Митя Шостакович обратился еще в то время, когда им не владел страх ни перед НКВД, ни перед естественной смертью. Композитор признается, что начал "закладывать" в молодые годы, чтобы преодолеть чрезмерную стеснительность, граничащую с болезнью. Чуть позже попойки с лучшим другом, открывшим композитору красоту музыки Малера и Оффенбаха, Иваном Соллертинским /впоследствии выдающимся музыковедом/, происходили практически каждодневно. Пример такого поведения Мите подал не кто иной, как директор консерватории, знаменитый русский композитор Глазунов. Привыкнув выпивать каждый день изрядные порции, создатель "Раймонды" лишился возможности продолжать сие занятие в "незабываемом 19-ом" году из-за запрета продажи алкогольных напитков. Но отец Мити работал в менделеевской палате мер и весов, и Глазунов сговорился с Дмитрием Болеславичем: он /Глазунов/ дает Мите спецстипендию, а Дмитрий Болеславич ему в обмен — лабораторный спирт...

Потом война, работа в спецпротивопожарной группе на крыше Ленинградской консерватории — без "ста граммов", сами понимаете, не обойтись. Затем привычка, рефлекс*, новые страхи, которые должны же были как-то компенсироваться.

Музыкант из квартета им. Танеева рассказывал мне: на репетиции Шостакович вдруг отойдет в удобный момент куда-нибудь в сторонку, достанет из кармана маленькую бутылочку коньячку, пригубит, и все вновь "о'кей", репетиция нового квартета продолжается.

Сам Шостакович говорит, что в определенных ситуациях питье не вредно вовсе и что он не является исключением в среде русской интеллигенции с ее правилом писать, обмакнув перо в водку.

*"Так мы работали, — говорит Соломон Волков. — Мы садились за стол в его студии, и он предлагал мне "дринк" /от которого я всегда отказывался/. Затем я начинал задавать вопросы".

А теперь о мыслях о самоубийстве. После того, как Шостакович развернул газету, в которой обнаружил статью "Сумбур вместо музыки" /данную по личному указанию Сталина/, он был близок к самоубийству. Такая мысль, естественно, может приходить в голову, когда не спишь, вслушиваясь в тишину — "не идут ли?", а неподалеку стоит чемоданчик с самым необходимым. "Я был в совершенном рабстве у страха, — говорит композитор. — Я не был больше хозяином моей жизни. Будущее не выглядело менее мрачным. В этот момент я отчаянно хотел исчезнуть, это была единственная возможность выхода. Я думал об этой возможности со смаком" /стр. 118, разрядка моя. — А. А./. Эти реквиемные настроения отразились в 4 симфонии, особенно в ее гениальной коде, и в 1-й части 6 симфонии.

Читая эти фрагменты воспоминаний, я неожиданно вспомнил главу о Блоке из книги Корнея Ивановича Чуковского "Современники".

"Глубоко подспудное "наслаждение" было и для Блока в его катастрофических мыслях. Как узнал я впоследствии, он с обычной своей беспощадной честностью сам отметил в себе эту черту: "... Со мной — моя погибель, и я несколько ей горжусь и кокетничаю..." — признавался он в письме к одному из друзей. Но боль оставалась болью, и, не для того ли, чтобы заглушить ее, Блок во время всего разговора снова и снова наполнял свой стакан. В этой судорожной жажде опьянения чувствовалась та же "погибельность", что и во всей его речи. В те времена многим из нас, петербуржцев, случалось не раз с сокрушением видеть, как отчаянно он топит свое горе в вине. И когда в такие ночи и дни мы встречали его в каком-нибудь гнилом переулке, по которому он нетвердой походкой пробирался домой с окостенелым лицом и остановившимся взглядом, нам чудилось, что он действительно бесприютный скиталец, отверженец, от лица которого он пел в те времена свои песни:

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне все равно..."

Шостаковичу, однако, было куда труднее. По "гнилым переулкам" особенно не пошляешься: требовался максимум осторожности.

Композитор обсуждал проблему самоубийства с Зощенко. Вместе с ним он посмеивается над визитами творческих людей к психиатрам. В этом эпизоде затрагивается тема контакта гениального пациента с заурядным, пусть и очень образованным врачом-психиатром. Не то, что "излечить", но и просто понять гения со свойственным последнему сложнейшим переплетением комплексов способен лишь гениальный или, по крайней мере, очень талантливый врач-ученый. Ибо "психиатры называют психотиками тех людей, которые "утратили связь с реальностью". При этом врачи наивно полагают, будто реальность — это и есть то, что воспринимают они сами. Поэтому все, что отличается от их личного восприятия, объявляется нереальным",— писал известный представитель "интеракционистского" направления в психологии Т. Шибутани в книге "Общество и личность".

Д. Шостакович сумел пересилить соблазн самоубийства, сочтя это чрезмерно инфантильным поступком*. Но с той поры он напяливает на себя защитительную маску юродивого. Гениальный художник и без того воспринимался большинством своего окружения как юродивый. /Отсюда и любовь к образу шекспировских шутов с их амбивалентностью, к "Юродивому" Мусоргского и т.п./ Но после 36-го года композитор не только смиряется с таким "интерсубъективным бытием", но и полусознательно усугубляет подобное к себе отношение. Это стало его формой самозащиты, самосохранения.

И, наконец, о честолюбии. Д. Шостакович знал, что как композитор он в высшей степени одарен, и это было также психозащитным механизмом. Он хотел превзойти своих соперников, других великих композиторов XX века — Стравинского, Прокофьева. Шостакович признает, что приступил к

* В конце концов большинство его сочинений исполнялись. Но вот представим ситуацию: исполнение произведений запрещено полностью, а партитуры всех предыдущих сочинений изъяты или уничтожены! Вот тогда — смог ли бы Шостакович пересилить "соблазн"?

перередактированию опер Мусоргского, отчасти, из зависти к Римскому-Корсакову, из желания превзойти его*. И автор "Катерины Измайловой" имел на это все моральные права! Гении вообще — этот факт хорошо известен исследователям-биографам — любят "примерять" биографию умершего и признанного гения к своей. Лишенные психологической поддержки со стороны современников, они опираются на опыт переживания — страдальческий и радостный — их великих предшественников, прикасаясь к нему, как Антей к земле.

Шостакович любил примерять свою биографию к биографии Мусоргского, бывшего его любимейшим после И.С. Баха композитором. Он находил в эмпирическом облике "мусорянина" много близкого, автобиографического: ощущение заброшенности, пристрастие к алкоголю, юродивость, инфантильность.

Инфантильность присуща большинству гениев. Известно, что почти все дети в той или иной форме реализуют свою потребность в самовыражении. По мере перехода к взрослости эта потребность у большинства людей затухает. Нормальный взрослый человек никогда так и не поймет, что все это вовсе не шляпа, а "слон в удаве" /"Маленький принц"/. Гений испытывает потребность в самовыражении до конца жизни. Он сохраняет в себе любопытство к тому, к а к устроен мир, к наивным вопросам, лишенным всякого значения с точки зрения обыденного здравого смысла. И вот эта страсть к самовыражению, в сочетании с неприспособленностью в быту, и образует феномен "инфантильности" в том смысле, в каком мы о нем говорим.

Перед лицом различных видов страха произошло превращение Шостаковича в чисто кафкианский персонаж, мучимый тотальным страхом перед жизнью, в своего рода маленького

* Как известно "Хованщина" осталась после смерти автора в виде кучи фрагментов. К тому же Мусоргский из-за недостатка спецобразования далеко не в совершенстве владел искусством инструментовки. Римский-Корсаков сделал свою редакцию "Бориса" и "Хованщины", усилив при этом самые новаторские "нюансы" опер Мусоргского.

зверька из новеллы Франца Кафки "Нора". Чувствуется, что мемуары создавались в настроении полного, хотя и глубоко скрытого отчаяния, и это нужно помнить, когда встречаешь при их прочтении те или иные излишне тенденциозные и не очень приятные куски.

Из отчаяния возникала озлобленность, явившаяся в свою очередь источником мстительности и тенденциозной недоброжелательности Шостаковича по отношению к не самым плохим людям. Шостакович очень злопамятен, часто мелочен. В жизни Дмитрий Дмитриевич был известен как человек очень деликатный. В мемуарах от его деликатности не остается и следа. В попытке оправдать свой конформизм последних лет, свою подпись против академика Сахарова, свою трусость и соглашательство, переходившие несколько раз за грань, где уже начинается интеллектуальное проституирование, Шостакович, так сказать, идет "ва банк", не щадя ни правых, ни виноватых и не желая взять на себя хоть маленькую дольку соответственности. Даже когда жизнь сталкивает композитора с более честными, смелыми и чистыми людьми, чем он сам, он старается выискать нечто, при помощи чего этих людей можно было бы хоть как-то очернить. Эпизоды с Юдиной и Сахаровым поражают своей грубой тенденциозностью и несправедливостью. Отчасти это же можно сказать и об эпизоде с Солженицыным. А уж "своих", таких же, как он сам, конформистов, Шостакович не щадит и подавно. Он не преминет припомнить детали интимной жизни, вообще, казалось бы, не предназначенные для печати: что-де такой-то заболел сифилисом, такой-то от страха перед Сталиным "наделал в штаны", такой-то ходил в желтых иностранных ботинках, а такой-то рассказывал скабрезную историйку про того-то.

Ясно, что эмпирическая личность Шостаковича сильно расходится с его творческой личностью. Однако, опять же, не будем спешить с приговором. В конце мемуаров есть такие строки:

"Нет, я не могу продолжать описывать мою несчастную жизнь, а я уверен, что никто не сомневается теперь, что она — несчастная. Не было особенно счастливых моментов в моей

жизни, ни больших радостей. Она была серая и скучная, и мне грустно думать об этом. Мне грустно согласиться с этим, но это — правда, несчастливая правда. Каждый новый день моей жизни не приносит мне радости... Моя жизнь была наполнена печалью, скорбью..."

Кто, оглянувшись на всю свою уходящую жизнь, сможет отнести к ней эти слова, пусть первый кинет в Шостаковича камень.

Илья СУСЛОВ

ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ Вышла из печати

Это повесть о жизни молодого москвича Толи Шифрина, он тщетно пытается найти свое место в сталинско-хрущевско-брежневском обществе. Трагикомические ситуации, в которые то и дело попадает герой повести, закономерно подводят его к мысли об...

Читатель уже догадался, к какому выводу приходит Толя Шифрин, с жизнью которого Вы можете познакомиться, прочитав повесть Ильи Суслова. Книгу можно заказать, послав чек на 6 долларов /и 1 доллар за пересылку/ по адресу: Ilya Suslov, 13545 Vandalia drive,

Rockville, md, 20853, USA

Илья Суслов, бывший советский журналист, сатирик, редактор и драматург, живет сейчас в Вашингтоне. В начале шестидесятых годов он работал в Москве в журнале "Юность", а с 1967 по 1973 год редактировал знаменитый "Клуб 12 стульев" "Литературной газеты". Его повесть "Прошлогодний снег" была переведена на английский язык и вышла в издательстве "Индиана юниверсити пресс". Сейчас Илья Суслов работает в журнале "Америка".

По мнению "Индиана юниверсити пресс" повесть Суслова — это "Один из лучших образцов комической прозы, вышедшей в последнее годы из России...".

"Киркус ревю" называет повесть "Смешное саркастическое повествование о странной, абсурдной жизни, которой живут люди в неподвижном советском обществе...".

Я ВЫБРАЛ СВОБОДУ

Процесс ВИКТОРА КРАВЧЕНКО

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В 1944 году в Вашингтоне работала советская закупочная комиссия. В ее задачи входил отбор и приобретение военного оборудования, которое Соединенные Штаты должны были поставить Советскому Союзу в соответствии с условиями ленд-лиза*. 1 апреля 1944 года один из членов этой комиссии, инженер Виктор Андреевич Кравченко, покинул свой пост и тайно уехал из Вашингтона в Нью-Йорк. 3 апреля Кравченко дал интервью американским журналистам и передал им для опубликования текст декларации, который и появился 4 апреля 1944 года в ряде американских газет. В декларации, в частности, говорилось:

"Я не могу больше молчать. В интересах моего измученного народа я вынужден... сказать об основах политики, проводимой сегодня советским правительством и его вождями. Русский народ подвергается невероятному угнетению и жестокостям, а НКВД с помощью тысяч своих шпионов все время усиливает свое господство над ним...

*Ленд-лиз — /lend-lease/ — в период второй мировой войны система передачи Соединенными Штатами Америки Советскому Союзу и другим странам антифашистской коалиции взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, медикаментов и т. д.

...Военные цели СССР несовместимы с военными целями союзников...

...Не очищенных от фашистских захватчиков землях советское правительство вновь устанавливает свой режим беззакония и насилия, а тюрьмы и концлагеря функционируют, как и раньше..."*

Это заявление произвело сенсацию в американской и мировой печати и было использовано гитлеровской пропагандой в своих целях.

В последующие месяцы Кравченко скрывается в разных городах США. В 1946 году выходит на английском языке его книга "Я выбрал свободу" /"I chose freedom"/. Книга представляет собой историю жизни Кравченко в СССР и содержит описание процессов коллективизации и раскулачивания, массовых арестов и пыток, тюрем и лагерей.

Книга Кравченко сразу становится бестселлером. Ее переводят на ряд языков, о ней всюду пишут и говорят.

В 1947 году выходит французское издание книги. 13 ноября 1947 года газета "Леттр франсез", орган писателей — участников Сопротивления, печатает статью "Как был сфабрикован Кравченко", подписанную корреспондентом газеты в Нью-Йорке Симом Томасом. Автор статьи обвиняет Кравченко в клевете на Советский Союз и рисует его как человека, во всех отношениях безнравственного, изменника родины, платного агента ЦРУ, поставившего свою подпись под сфабрикованной в пропагандистских целях книгой. В дальнейшем гвзета публикует ряд статей других своих сотрудников, в которых развиваются те же мысли.**

Кравченко привлекает газету к судебной ответственности за диффамацию. Судебный процесс Кравченко против газеты "Леттр франсез" происходит в Париже с 24 января по 4 апреля 1949 года. Процесс с самого начала носит сенсационный характер. Все два с половиной месяца зал заседания, прилегеющие к нему помещения, а иногда и улицы перед зданием суда заполнены народом. Все газеты и радиостанции Франции и других западных стран передают подробные отчеты о заседаниях суда. Процесс Кравченко является основной темой разговоров и споров во Франции в начале 1949 года.

В роли истца на суде выступал, как уже указывалось, В. А. Кравченко. Суд состоял из председателя суда Дюркейме и двух заседателей.

* Газета "Нью-Йорк таймс", 4 апреля 1944 года.

**Директор газеты — Клод Морган, в то время член КПФ, главный редактор — Пьер Дэкс, в то время также член КПФ. В газете сотрудничали многие писатели и журналисты, в прошлом участники Сопротивления, не являвшиеся членами КПФ: писатель-католик Луи Мартен Шоффье, Веркор и многие другие.

Ответчиками были директор газеты "Леттр франсез" Клод Морган и сотрудник газеты Андрэ Вюрмсер.* Третий ответчик, Сим Томас, на процессе так и не появился. Адвокатами Кравченко были Жорж Изар и Жильбер Эйсманн. Адвокатами ответчиков были Андрэ Блюмель, Мишель Брюгье, Лео Матарассо и Жоэ Нордманн.**

Выступления сторон и свидетелей шли в основном на русском и французском языках. В частности, Кравченко и большинство свидетелей как обвинения, так и защиты, говорили по-русски, и их выступления сразу переводились на французский язык. Запись на пленку не производилась, велась лишь стенографическая запись на французском языке. Приводимые выдержки из стенографического отчета о процессе* представляют собой перевод с французского, причем в отношении выступлений на русском языке — это обратный перевод с французского перевода на русский. Очень часто стенографистки не улавливали русские имена и названия, и во французском тексте многие русские имена собственные искажены до неузнаваемости. Неоднократно между переводчиками возникали споры о правильности перевода той или иной фразы, иногда, по-видимому, перевод был просто невозможен, так как все говорили одновременно, сразу на русском и французском языках. Понятным становится поэтому вырвавшееся в какой-то момент у председателя суда восклицание: "Бедные стенографистки!".**

Периодически дословная запись уступает место пометкам типа: "завязывается бурная перепалка между адвокатами", "публика бурно протестует", "адвокаты вступают в нескончаемый и не совсем ясный спор". Не раз в ходе заседания председатель суда угрожает закрыть заседание и вывести зрителей из зала; иногда он приводит эту угрозу в исполнение.

Сокращенный стенографический отчет о процессе представляет собой два тома общей сложностью в 1300 страниц. Всего на процессе выступило 62 свидетеля. По французским законам, свидетели не имеют права пользоваться во время выступлений какими бы то ни было записями, поэтому их выступления часто путаны, сбивчивы. Адвокаты противника прерывают их вопросами, которые еще больше отвлекают

---

* Писатель, член КПФ. Один из ведущих сотрудников газеты.

** Впоследствии стало известно, что за этим псевдонимом скрывался француз Андрэ Ульманн и что никакого корреспондента в США газета "Леттр франсез" не имела.

***Стенографический отчет о процессе был выпущен в серии "Выдающиеся судебные процессы современности" издательством Апьбен Мишель /Le Proces Kravchenko, Compte rendu stenographique, Albin Michel, Paris, 1949, 2 volumes/.

их от основной мысли. В некоторых случаях заданный вопрос так и остается без ответа: он тонет в словесной перестрелке адвокатов и сторон.

Ниже приводятся небольшие отрывки из выступлений сторон, адвокатов, а также ряда свидетелей. Совершенно очевидно, что в рамках данной публикации невозможно продемонстрировать не только весь процесс, но даже и все основные линии, по которым развивалось его действие. Анализ отчета показывает, что таких линий было три: соответствует ли истине то, что Кравченко рассказывает о Советском Союзе? Соответствует ли истине то, что Кравченко рассказывает о себе? Он ли является автором книги? Нам казалось, что наибольший интерес представляет первый вопрос, особенно, если учесть, что дело происходит в 1949 году. Что же касается второго и третьего вопросов, мы включили лишь некоторые материалы, относящиеся к ним. Однако нужно сказать, что вопрос о деталях биографии Кравченко имел огромное значение на процессе. Так, адвокатами защиты была предъявлена суду анкета, заполненная Кравченко в 1942 году, ряд данных которой не совпадал с данными книги. На основании этой анкеты защита стремилась доказать лживость всей книги. Обсуждение этой анкеты заняло очень много времени и нашло свое отражение в решении суда.

Д. БАРСКАЯ

ПРОЦЕСС ВИКТОРА КРАВЧЕНКО

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 24 ЯНВАРЯ 1949 г.

Председатель суда: Заседание суда объявляется открытым. Слушается дело Кравченко против Сима Томаса-Моргана /"Леттр франсез"/. Сима Томаса, конечно, все еще нет. Господин Морган, вы привлечены к суду за диффамацию. Вы опубликовали в газете "Леттр франсез" статью, которую господин Кравченко считает клеветнической. В статье от 13 ноября 1947 года, в частности, говорится:

"Он /Кравченко/ часто пил целые ночи, до утра...

В Первоуральске, где он работал начальником цеха, он составлял лживые отчеты, с целью получить премию...

Ему подали идею написать книгу. Он взялся за дело весьма энергично и через несколько месяцев произвел на свет около шестидесяти страниц, из которых ничего нельзя было извлечь. Но за это время наши друзья-меньшевики уже написали опус примерно в тысячу страниц... Потом распространили слух, что Кравченко скрывается, так как его жизнь в опасности. Вернее всего, это происходило потому, что автором книги был не он и что в конце концов это стало бы ясно самым безнадежным идиотам."

В статье от 15 апреля 1948 года говорится:

"Предположим, что Советский Союз таков, каким его описывает Кравченко. Но и тогда самого глубокого презрения было бы недостаточно для этого человека, который воспитан советской властью, который, по его утверждениям, верно ей служил, был важным лицом среди этих бесчеловечных существ и несет часть ответственности за их предполагаемые ужасы...

Одно из двух: или Кравченко лжет, или это существо отвратительное. От него зависит доказать французским судьям, что он не лжец."

Вы допускаете ошибку: не Кравченко должен доказать, что он не лжет, а вы должны доказать факты, в которых вы его обвиняете.

Ж. Нордманн: Мы их докажем.

Председатель суда: В статье от 1 апреля 1948 года говорится:

"Мы готовы доказать лживость утвержений, которыми полна эта книга, подписанная его именам, в которой он изображает СССР как страну, находящуюся во власти полицейского террора..."

/.../

Слово предоставляется господину Кравченко.

Из заявления В. А. КРАВЧЕНКО

...Четыре года назад я порвал с советской властью и отказался вернуться в свою страну. Как всякий человек, я люблю мою родину и мой народ. Но я предпочел изгнание, предпочел ничего не знать о моих близких. Я не знаю даже, какова сейчас их судьба...

Это решение принял не я — это решение приняли за меня страдания и отчаяние, свидетелем которых я был. Это решение принял за меня советский строй... Хозяева Кремля лишили советский народ завоеваний революции... Они украли у него плоды культуры и прогресса и сделали народ инструментом своей политики.

В своей книге я рассказал правду о Советском Союзе. Я знаю, что меня обвиняют в преувеличениях. Но вспомните, как до нас доходили сведения о немецких концлагерях и как мы считали их преувеличениями. Мы убедились в их справедливости только, когда увидели факты. Вы увидите мои данные, мои документы, и тогда вы сможете убедиться, кто из нас прав и кто виноват — я, моя книга или те, кто меня сейчас обвиняет, — "Леттр франсез", агенты Кремля и сами хозяева Кремля.

*Из заявления КЛОДА МОРГАНА**

Господа, не я должен был бы предстать перед этим судом по жалобе Кравченко, а мой друг Жак Декур, который основал "Леттр франсез"... Но Жак Декур расстрелян в 1942 году...

Почему я опубликовал статью Сима Томаса? Потому что я целиком доверяю сведениям, которые мне сообщает наш корреспондент в Соединенных Штатах, потому что его статья подтверждает справедливость моей реакции на книгу Кравченко...

Я опубликовал статью Сима Томаса потому, что я остался верен нашему идеалу Сопротивления — защищать нашу страну от любых врагов.

Я не называю здесь настоящее имя Сима Томаса — не называю для того, чтобы не подвергать его преследованиям, которым подвергаются сейчас в Соединенных Штатах многие деятели культуры, повинные не в антиамериканской, а просто в антифашистской деятельности...

И поскольку Кравченко преследует сейчас газету "Леттр франсез", я хочу сказать несколько слов об этой газете.

"Леттр франсез" вышла впервые 20 сентября 1942 года... Мы выпустили двадцать подпольных номеров, первые из которых мы печатали на ротаторе и выпускали тиражом в 1500 экземпляров, потом в 12000 экземпляров.

Я говорю об этом прошлом потому, что оно неразрывно связано с нашим настоящим... "Леттр франсез" осталась для нас газетой Жака Декура.

...Мы продолжаем дело Жака Декура. Всем нашим прошлым, всем нашим настоящим мы завоевали право называть кошку кошкой, а Кравченко — предателем.

---

* Директор газеты "Леттр франсез".

Из заявления АНДРЭ ВЮРМСЕРА

Поскольку я прочел этот "роман", я считаю своим долгом ответить на него. Это мой долг журналиста, мой долг француза, мой долг человека, это мой долг перед моими товарищами по Сопротивлению.

...В то время как десятки тысяч французов видели Советский Союз, в то время как история дает нам столь богатую информацию о Советском Союзе, вдруг появляется человек, который заявляет: "Вы ничего не знаете; к счастью, существую я... И я сообщаю всему миру истину ". На самом деле, первые отрывки из книги Кравченко появились 8 ноября 1917 года в прессе всех стран мира... И вот уже более тридцати лет вопреки очевидности нас уверяют в том, что СССР весь кишит полицейскими...

/.../

Председатель суда: Мэтр Нордманн, насколько я понимаю, у вас есть вопросы к Кравченко?

Ж. Нордманн: Да, у меня есть вопросы, но сегодня несколько вопросов задаст Андрэ Вюрмсер.

Председатель суда: Переведите господину Кравченко, что господин Вюрмсер задаст ему несколько вопросов.

А. Вюрмсер: Может ли истец сказать мне, как кончается "Кукольный дом"?

Переводчик Цацкин: Драма?

А. Вюрмсер: Будьте добры... Я сказал: "Кукольный дом"... Не подсказывайте.

Председатель суда: Господин Кравченко желает ответить?

В. Кравченко: Я не вижу связи между процессом и вопросом, который мне задан.

Председатель суда: Я думаю, что в данный момент ее никто не видит.

А. Вюрмсер: Я объясню. В книге Кравченко идет речь о "Кукольном доме". Господин Кравченко заявляет, что кни-

гу написал он. Пусть скажет, как кончается "Кукольный дом".

Кравченко: О каком "доме" идет речь? Я не желаю, чтобы этот процесс превращали в комедию...

А. Вюрмсер: Он сказал "какой дом"? Он не знает "Кукольного дома", значит, книгу написал не он.

Ж. Изар*: Один из русских переводчиков говорит, что книга называется по-русски не "Кукольный дом", а по-другому...

/.../

М. Блюмель**: Я констатирую, что у Кравченко, кроме официального судебного переводчика, кроме его личного переводчика, имеется еще третий человек, который играет роль ментора, наставника...

Ж. Изар: Позволю себе заметить, что Кравченко на этом процессе — глухой, когда говорят по-французски. Официальные переводчики ему не переводят. Когда говорил г-н Вюрмсер, он не знал, о чем идет речь. Когда говорил г-н Морган, он не знал, о чем идет речь. Ему необходим личный переводчик. Мы не в России, а во Франции. Он имеет право.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 26 ЯНВАРЯ 1949 г.

Показания ЖАНА БРЮЛЛЕРА /псевдоним: ВЕРКОР/

Ж. Нордманн: Имя Веркора известно всем. Для газеты "Леттр франсез" является большой честью, что Веркор был одним из ее основателей и что он выступает здесь свидетелем. Веркор — это символ литературного сопротивления захватчикам...

Что подумали бы, в апреле 44-го года, все ваши друзья по Сопротивлению, — независимо от их политических взглядов —

* Адвокат истца В. А. Кравченко.

** Адвокат ответчиков.

и что подумали бы вы сами, если бы узнали тогда о поступке Кравченко?

Веркор: Ну, это вполне ясно. Мы отнеслись бы к этому так же, как относились тогда ко всем антисоветским агентам на нашей земле и, в частности, к агентам "Антибольшевистской, антимасонской и антисемитской лиги".

Ж. Нордманн: Могла бы эта книга появиться во Франции во время немецкой оккупации?

Веркор: Конечно. Лига, о которой я говорю, с восторгом напечатала бы эту книгу.

Ж. Нордманн: Могла бы эта книга выйти после Освобождения?

Веркор: Сразу после Освобождения — ни в коем случае.

Ж. Изар: Г-н Веркор так строго судит книгу Кравченко, но помнит ли он, что говорили о нем коммунисты в тот момент, когда он опубликовал "Молчание моря"? Илья Эренбург писал: "Сколько бы нас ни уверяли, что за псевдонимом "Веркор" кроется большой французский писатель, я считаю, что рассказ написан очень средним литератором. Книга Веркора оскорбительна для французского народа"*. Не следует ли господину Веркору, учитывая, как его оценивали люди, которые сегодня вызывают его в качестве свидетеля, быть более осторожным в своих суждениях?

Веркор: После этого было несколько объяснений между Ильей Эренбургом и коммунистической партией Франции... "Молчание моря" распространял Арагон...

Показания свидетеля ЖАНА БАБИ

/Жан Баби — преподаватель истории, участник двух мировых войн. Член французской коммунистической партии./

Ж. Баби: Господин председатель, я намерен в качестве историка проанализировать значение книги, подписанной Виктором Кравченко. Я намерен показать, прежде всего, что с точки зрения историка эта книга абсурдна. Затем, что эту

* Обратный перевод с французского.

книгу Кравченко написать не мог. И, наконец, я намерен показать, зачем написана эта книга, в чем ее значение и ее опасность.

В силу целого ряда своих черт, эта книга не носит характер свидетельства, как его понимает историк. Первые воспоминания Кравченко — очень точные, даже воспоминания о произнесенных словах — относятся к весьма раннему возрасту /два с половиной года/. Он рассказывает сцену, которая произошла, когда ему было два с половиной года, когда его отца арестовали жандармы... И, конечно, такая удивительная память немедленно возбуждает подозрение историка.

Председатель суда: По-видимому, надо отделять в этой книге часть вымышленную от части исторической.

Баби: Я согласен с вами.

Книга удивительна не только по своей композиции, она просто абсурдна. В этой книге много ужасов, много страшных сцен. Они касаются голода и нищеты крестьян. Автор без конца возвращается к описаниям голода и разрухи.

Я хочу напомнить вам одну странную вещь: Кравченко посылают в деревню в самый разгар голода. Он приезжает и осматривает деревню. Он видит, что все или умерли, или умирают. Ему приходит в голову мысль: собрать часть урожая, раздать хлеб крестьянам, — и через двое суток — это написано в книге — деревня воскресает, люди смазывают машины, машины работают, люди принимаются за работу. Через два дня они начинают петь, начинается сбор урожая. Мне это кажется абсурдным, гротескным. Я бы хотел знать, как Кравченко объясняет эти факты.

Кравченко: Объяснить легко, надо было бы прочесть чуть подальше, я там, по-моему, ясно объяснил ситуацию. Перед моим приездом в деревню политотдел немного помог мне с хлебом. Кроме того, на полях, где хлеб уже созрел, мы сжали немного по краям. Высушили ночью зерно, смололи...

Баби: Это понятно. Я остаюсь на своей точке зрения: главы, посвященные голоду, кишат ошибками, неправдоподобными описаниями, типа тех, которые я приводил.

Изар: Совесть надо иметь.

Баби: Существуют цифры, по которым историк может составить себе определенное мнение. В 1917 году в России было 117 миллионов жителей. В 1939 году их было 180 миллионов. Население никогда раньше не увеличивалось в такой пропорции. Я спрашиваю: если Кравченко или тот, кто подписывается его именем, изображает Россию как огромное поле битвы, усеянное трупами, если Чингиз-хан, по сравнению со Сталиным,— это ученик, любитель, — то как может он объяснить, что население страны растет с такой скоростью?

Председатель суда: А вы как оцениваете количество жертв?

Баби: Я лично считаю, что никаких преследований не было вообще...

Председатель суда: Ну, будем считать, двадцать миллионов...

Баби: По поводу одной из чисток Кравченко говорит о десяти миллионах жертв... */Завязывается длинный спор о цифрах роста населения./*

Нордманн: Я хочу только уточнить: если в стране имеется 180 миллионов человек, то активное население равняется 90 миллионам. Разделим еще раз пополам, чтобы получить количество мужчин: 45 миллионов. Так что, на 45 миллионов десятки миллионов находятся в лагерях? Вот, мне кажется, что хотел сказать Жан Баби; это смешно.

Баби: Кравченко говорит, что эта книга была написана им по-русски. Если рассматривать ее объективно, видишь, что она не может быть написана русским. В русской литературе нет ни одного примера, ни одного текста, который имел бы что-нибудь общее с той манерой, в которой написана книга Кравченко.

Изар: Господин Баби знает русский язык? Вы говорите по-русски?

Баби: Я читаю переводы.

Изар: Спасибо!

Баби: В этой книге есть черта, свойственная только аме-

риканской литературе: всюду есть мелкие пикантные детали, чуть-чуть порнографии, — для возбуждения внимания. Очень ясно видно, как сделана эта книга: Кравченко долго расспрашивали, он рассказал о своей жизни...

Кравченко: Где доказательства?

Баби: Это мое мнение.

Изар: На мнения мы отвечать не будем.

Баби: Надо сказать о сущности проблемы: эта книга — не только обычная антисоветская писанина дурного вкуса; эта книга имеет ясную политическую цель, и цель эта — подготовка войны. Больше в ней нет ничего.

Показания свидетеля Д'АСТЬЕ ДЕ ЛЯ ВИЖЕРИ

/Депутат Национальной Ассамблеи; один из непосредственных помощников генерала де Голля по организации Движения Сопротивления; бывший представитель генерала де Голля в США./

Д'Астье де ля Вижери: Я остановлюсь на двух вопросах. Первым будет поведение Кравченко в 1944 году. Если я не ошибаюсь, Кравченко выбрал свободу 1-го, 2-го или 3 апреля. Первое, на что он ее использовал, была измена. Какова была в это время международная обстановка? Высадка союзников еще не была произведена; 80-90 процентов немецких вооруженных сил были направлены против советской армии. И был человек, который на деле воплощал то, чем Кравченко занимался на словах: генерал Власов. В отличие от Кравченко, он, по крайней мере, рисковал жизнью...

Я должен добавить — я пережил это лично — что у генерала де Голля были большие трудности во взаимоотношениях с союзниками. Известно, какие были затруднения между генералом де Голлем и премьер-министром Черчиллем или президентом Рузвельтом. Я помню, как в наших почти ежедневных разговорах с генералом де Голлем он с удовлетворением отмечал, что есть единственный союзник, единственный глава государства, с которым у него все время превосходные отношения,— это маршал Сталин...

Я не могу осуждать людей за то, что, выбирая свободу, они покидают то или иное государство, то есть эмигрируют. Но я считаю преступлением и изменой действия тех, кто покидает свою страну в момент тяжелой опасности. Поэтому я считаю действия Кравченко изменой...

Другой вопрос, который я считаю важным и о котором говорит Кравченко. В России, — говорит он, — миллионы, пять, десять, пятнадцать миллионов Кравченко. Но простой здравый смысл говорит нам: если бы в России были миллионы Кравченко — учитывая то, что мы знаем о невероятном мужестве русского народа — были бы уже тысячи и тысячи подпольных борцов, была бы уже настоящая гражданская война...

Показания свидетеля МАРКЬЕ

/Полковник, участник второй мировой войны. В 1940—1941 годах находился в плену у немцев. В 1945—1947 годах был начальником французской миссии в СССР, задачей которой была репатриация во Францию французских военнопленных./

Я приехал в СССР в июне 1945 года. Я видел, что представлял собой Советский Союз в это время. Я был на Украине, в Белоруссии. Я видел плохо одетых людей. Над ними можно было насмехаться, как это делали некоторые газеты. Но при этом забывают, что у них оставалось то, что они вынесли из дымящихся развалин, только то, что они спасли после немецкой оккупации. И эти люди, несмотря на их материальную нищету, несмотря на огромные трудности, знали, почему им надо все силы отдавать на восстановление страны. Они вызывали уважение к себе...

И потом я видел, как СССР постепенно вставал из руин. Я видел, как через два с половиной года в этой стране, которая пострадала больше всех стран Европы, были отменены карточки на продовольствие и одежду. Я был во многих городах, был в лагерях для военнопленных; отчеты можно увидеть в министерстве. После 1947 года я бывал в лагерях Министерства внутренних дел. Советская пресса, радио, возможности посещения лагерей — все было в нашем распоряжении.

все делалось для того, чтобы облегчить нашу миссию. И я должен сказать, что человек с советским сердцем не мог обрисовать Советский Союз так, как его обрисовал Кравченко...

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 31 ЯНВАРЯ 1949 г.

Показания свидетеля ФРАНСИСКА БОРНЭ /инженер-химик/

Ф. Борнэ: Я приехал в Россию в 1909 году. Я пробыл там с 1909 по 1946 год, то есть тридцать семь лет. Пять лет и два месяца я провел в советских тюрьмах и концлагерях, потому что я французский гражданин.

Председатель суда: Вы говорите, что русское правительство посадило вас в тюрьму только потому, что вы французский гражданин?

Ф. Борнэ: Вот именно. Нас посадили — сто тридцать семь французов. У меня есть список тех, кто погиб — это, в основном, женщины. Весь ленинградский дом престарелых — дом престарелых учительниц. Им французское посольство платило пенсию. Эти несчастные женщины были уже очень старые, родных во Франции у них не было, и они остались в России. Их всех посадили и выслали. Многие умерли в дороге. Три недели ехали. Их и не кормили почти. А им было по 80, 82, 85 лет; даже и по 87 были...

Я вам расскажу о себе. В 1938 году меня арестовали. 15 июля. Посадили в тюрьму, потом везли из Свердловска в Новосибирск. Мне еще было хорошо, я ехал в купе один, а в других были уголовники: по пятнадцать, по двадцать человек... Голые совершенно: жара была, июль... Три дня ехали. За три дня три раза дали кипяток и три куска хлеба, 400 грамм... Потом, значит, тюрьма, потом лагерь... До 9 июля 1942 года. А потом нас отправили в Караганду. Одну вещь я вам точно могу сказать: нам ни разу не сказали, почему нас арестовали и куда нас везли. В Караганде мы пробыли до 6 сентября 1946 года...

Да, так вот о тридцать седьмом годе. У меня арестовали многих инженеров, они не знали, почему... А я не знал, почему они не выходят на работу... Сменные инженеры, знаете...

Ну, я стал узнавать. Около десяти человек их арестовали, я их больше не видел...

Когда я прочел книгу Кравченко, я нашел, что в ней нет преувеличений. В 1932 году я видел ликвидацию кулаков; я видел, какие делались зверства. Я видел, как их везли зимой в нетопленых вагонах, и они умирали от голода... Они убегали из этих вагонов, прибегали греться к коксовым печам... А наутро мы складывали трупы в кучи, полиция ими не занималась... Кто умер лежа, клали лежа, кто умер сидя, клали сидя... Ну, а потом веревкой перевяжут и увезут. Кравченко рассказывает правду, я все это видел и еще хуже. Концлагери есть по всей территории России...

М. Брюгье*: Слышали ли вы о призыве, с которым генераль де Голль 18 июня 1940 года обратился к французам, находившимся на территории иностранных государств, и в котором он призывал их присоединиться к нему?

Ф. Борнэ: Во французском посольстве имеется письмо, подписанное всеми французами, которые там были, они выражали желание присоединиться к генералу де Голлю.

М. Брюгье: А вы выразили такое пожелание?

Ф. Борнэ: Послушайте, мне было 62 года...

М. Брюгье: К генералу де Голлю приходили техники, не обязательно было находиться в строю.

Ж. Эйсман**: Он работал для фронта, для союзников. Он был инженером в Советском Союзе, и ему было 62 года!

М. Брюгье: Выразил ли как-нибудь свидетель свою солидарность с делом Свободной Франции?

Ж. Эйсман: Да, работая в Советском Союзе.

Председатель суда: Ну, господа, это немножко...

М. Брюгье: Проявлял ли как-нибудь свидетель свою солидарность со Свободной Францией в 1940 году и в дальнейшем?

Ф. Борнэ: Всегда.

М. Брюгье: Докажите это.

---

* Адвокат ответчиков.

** Адвокат В. А. Кравченко

Председатель суда: А как он может вам это доказать? Как он мог выразить свое мнение?

М. Брюгье: Во-первых, он мог послать генералу де Голлю телеграмму с выражением солидарности! */Смех в зале./* Он мог...

А. Вюрмсер: А что, в Советском Союзе почт нет?

М. Брюгье: ...создать в Москве или в других городах, где он был, комитеты поддержки Свободной Франции, как это было в других странах!

Ж. Эйсманн: А были такие комитеты в Советском Союзе в конце 1940 года?

М. Брюгье: Могли быть... В общем, свидетель оказался в заключении, потому что был верноподданным правительства Виши. Вот и все.

/.../

Ж. Эйсманн: Я хотел бы задать свидетелю вопрос в присутствии полковника Маркье. Скажите, пожалуйста, когда вы были в заключении, не пришлось ли вам прочесть одну статью полковника Маркье, которая вас удивила?

Ф. Борнэ: Статью в "Известиях"? В которой была перепечатана статья из "Се суар"*, где какой-то летчик из эскадрильи "Нормандия—Неман" писал, что в Советском Союзе больше не осталось заключенных... А мы читали эту статью в концлагере!

Показания свидетельницы ОЛЬГИ МАРЧЕНКО

/Родилась в 1906 году. Крестьянка./

Председатель суда: Где она живет?

О. Марченко: */перевод Гузара/ В* Германии.

Председатель суда: Почему она сейчас в Германии?

О. Марченко: Война заставила. Немцы, когда уходили, угнали.

* Вечерняя газета, орган коммунистической партии Франции.

Председатель суда: Почему она не вернулась на Украину?

О. Марченко: Я не могла вернуться, потому что я считалась кулачкой. Жить мне было негде. Я осталась в Германии, пока американцы не определят, куда ехать.

/.../

Эйсманн: Что может свидетельница рассказать о раскулачивании?

О. Марченко: Я жила с мужем в Ростовской области. Мы были крестьяне, у нас было пять гектаров земли, корова и две лошади. Наемных работников у нас не было. До двадцать девятого года жить можно было, хотя и было тяжело. Когда началась коллективизация, четырнадцать крестьян записали в кулаки, а всего в деревне было шестьдесят семь дворов. На нас наложили такие налоги, что заплатить их никак нельзя было. Тогда они у нас все забрали: мебель, скотину, одежду, лошадей. Все забрали, ничего не осталось, а тогда еще наложили налог деньгами и сказали: "Заплатите стоимость вашего дома, тогда можете в нем оставаться жить. А не заплатите, выгоним на снег". Мы заняли денег у других, которых не записали в кулаки, и заплатили.

5 февраля к нам в дом пришла бригада... Я была одна, в доме ничего не было, никакого добра. Они пришли и говорят: "Уходи!"

Я стала защищаться. Я говорила, что мы заплатили за дом. Они схватили меня за руки и выбросили из дома. Разломали печь и дом опечатали. А меня выбросили на снег, а я была на девятом месяце...

Председатель суда: А где были ваш муж и ребенок?

О. Марченко: Они прятались, муж боялся ареста, тогда многих забирали. Мне было двадцать четыре года, я еще жить хотела. Я спряталась в погребе, во дворе. Они узнали и пришли меня вытаскивать. Я думала, конец мой пришел. Ухватилась за бочку с огурцами и кричу: "Не рвите меня пополам, я еще жить хочу!" Они меня схватили прямо с бочкой,

вытащили из погреба и выкинули на снег. А погреб опечатали. До вечера я пролежала на снегу, а потом меня взяла к себе соседка.

На другой день я пошла к председателю сельсовета и упала на колени, просила, чтобы разрешил мне родить в моем доме, и он разрешил. Я родила и потом какое-то время жила спокойно, хотя в доме было холодно, и я голодала. Потом ребенок умер от голода и холода. Так я и жила одна, и иногда кто-нибудь приходил и спрашивал: "На что ты живешь, где твой хлеб? Если не скажешь, мы тебя расстреляем..."

Председатель суда: Свидетельница сказала, что у нее все забрали, но ведь она жила в доме, она на чем-то спала...

О. Марченко: Вместо стола и скамеек были доски; постели не было, а спала на полу, на соломе...

Я видела, как уводили раскулаченных. Их везли мимо моего дома, и там была моя сестра. Я вышла посмотреть и увидела много-много телег, конца не было видно, все крестьяне из соседних деревень. Все больше женщины и дети. Сестра мне потом написала с Урала: их в товарных вагонах везли сорок два дня. Первые три дня ничего есть не давали, на четвертый дали соленую рыбу, без хлеба и без воды... Больше я от нее писем не получала...

Я кончаю свои показания и заявляю, что в книге Кравченко все правда, я сама это видела.

Андрэ Блюмель: Я хотел бы узнать, как сложилась судьба этой женщины после того, как она уехала из России... Она рассказывает нам о 1930 годе...

О. Марченко: Потом я получила известие от мужа и уехала к нему в Донбасс. Мы там жили, он там работал в разных местах...

А потом началась война. Немцы угнали нас в Германию, и мы до сих пор там, в американской зоне.

Председатель суда: Ее угнали. Была ли она в Германии в концлагере?

О. Марченко: Немцы увезли нас в Польшу, поместили

в лагерь и заставили работать. Работа была непосильная. Когда стали подходить большевики, немцы увезли нас дальше.

Л. Матарассо*: "Когда стали подходить большевики", — суд запомнит эту формулировку. На каком языке она читала книгу Кравченко?

О. Марченко. Наши дети учили английский. Когда мы услышали об этой книге, мы их попросили достать ее. Они ее купили и читали нам и переводили. Когда мы ее читали, мы плакали, потому что мы все это видели своими глазами.

Из показаний свидетеля СЕМЕНА МАРЧЕНКО

/Боясь ареста, Семен Марченко скрывается, уезжает в район Донбасса и устраивается на работу в МТС разъездным механиком. В своих показаниях он рассказывает о раскулачивании и насильственном вовлечении в колхозы. Адвокаты В. А. Кравченко демонстрируют суду справки с различных мест работы свидетеля./

А. Блюмель: Я хотел бы все-таки узнать, где сейчас живет свидетель.

Председатель суда: Сейчас? Я думаю, с женой.

С. Марченко: Я живу вместе с женой, работаю поденщиком у немца-крестьянина.

Л. Матарассо: В каких условиях он был вывезен в Германию, когда и какова была его судьба в Германии?

С. Марченко: 30 августа 1943 года немецко-фашистские войска уходили и увозили с собой украинское население, насильно. Увезли жену, меня и других.

Л. Матарассо: Свидетель был вывезен с двумя детьми?

С. Марченко: Да.

Председатель суда: Насколько я понимаю, эти люди не были угнаны насильно, а уехали добровольно.

А. Блюмель: Я тоже так понимаю, господин председатель. И это совершенно разные вещи.

Л. Матарассо: Еще один вопрос. Как он жил во время немецкой оккупации? И пусть ему не подсказывают. У Кравченко есть свой суфлер, а теперь он сам подсказывает свидетелю.

---

* Адвокат ответчиков.

С. Марченко: Работал шахтером...

Л. Матарассо: ...при немцах.

С. Марченко: Я рабочий. Посмотрите на мои руки. Это видно.

Председатель суда. Это видно по жесту.

Показания свидетеля КИСИЛО

/Инженер-химик, проживает во французской зоне оккупации Германии./

Эйсман: Первый вопрос: Как вы оказались в Германии?

Кисило: Меня угнали в Германию, на работу.

Председатель суда: Кто угнал?

Кисило: Немцы.

Эйсманн: При каких обстоятельствах?

Кисило: При обычных обстоятельствах. Взяли меня на базаре во время облавы.

/. ../

Эйсманн: Расскажите, пожалуйста, суду о чистках.

Кисило: Меня арестовали 10 мая 1938 года на работе. Сотрудник НКВД пришел и очень любезно пригласил меня зайти к начальнику — для технической консультации, он сказал. Когда я понял, что меня обманули, я потребовал объяснений, но мне отказали. Ордер на арест мне не показали, хотя по сталинской конституции это обязательно.

Два месяца меня держали в каком-то подвале... Через два месяца, когда я достаточно изнервничался и ослабел, мне предъявили обвинение в том, что я член контрреволюционного троцкистско-бухаринского объединения, целью которого было свержение советского строя со Сталиным во главе...

Два раза меня избивали до потери сознания. Потом поставили на конвейер: вас сажают на табурет, который стоит в полуметре от стены, так, что вы сидите на краю, спина должна быть прямая, руки на коленях. Так я просидел четырнадцать дней без сна. Следователи сменялись через каждые четыре часа. Иногда меня били, оскорбляли, но самое главное, следили за тем, чтобы я не спал и не менял позы. А когда они потеряли терпение, они прибегли к последнему трюку. Они сделали вид, что хотят арестовать мою жену. Целую мизансцену устроили. Я плохо помню, я был в полубессознательном состоянии.

Помню я все же, что они мне показали ордер на арест жены. Я понял, что дети — мальчик четырех лет и девочка восьми месяцев — останутся сиротами. И я сдался*.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 ФЕВРАЛЯ 1949 г.

Кисило: Меня отправили по этапу, и сначала я попал в тюрьму, в Алма-Ата. В камере, куда меня поместили, я был 136-м, а в царское время в ней сидело 24 человека.

Председатель суда: Так они что, круглые сутки стояли?

Кисило: Мы спали по очереди. Устраивались так: половина жалась к стене, чтобы освободить треть площади, и на этой трети остальная половина спала. Точное место для каждого мы отмеряли спичками.

Председатель суда: Господин Кисило — инженер? Он мог бы нам сообщить примерную площадь этого помещения? В метрах, если возможно.

Кисило: Метров двенадцать на семнадцать... Мы были совершенно голые, потому что белье на нас гнило, воздуха совсем не было...

Я видел там много страшного. Били женщин... Там были две камеры для детей, их называли "беспризорники", это были дети раскулаченных... Их били, как животных... Им было от десяти до четырнадцати лет.

...Потом нас отправили в Сибирь. В момент отъезда была еще одна трагедия: у матерей отнимали детей. Там были женщины с детьми — с грудниками и детьми лет до пяти-шести. Представляете себе этот ужас, когда чекисты вырывали детей из рук матерей и загоняли матерей в вагоны? Не помню, сколько времени мы ехали, больше шести дней, во всяком случае...

---

* Суд тройки, заседание которого длилось двадцать минут, приговорил Кисило к 18-ти годам лагеря особого режима. Окончание речи Кисило переносится на следующий день.

Нас привезли в лагерь... Я хочу, чтобы вы поняли обстановку: в пять утра нас поднимали, и мы должны были идти в березовую рощу за двенадцать километров, при температуре минус 40 градусов. Одеты мы были плохо, на ногах что-то вроде лаптей из бересты.

Мы должны были пилить лес. Значит, сначала надо было утрамбовать снег вокруг ствола...

Председатель суда: Вы говорите — 40 градусов — это по Фаренгейту или по Цельсию?

Кисило: По Цельсию. После работы мы были все в поту, в снегу. И в таком виде, все мокрые, мы должны были идти двенадцать километров до лагеря. Вся эта влага на нас замерзала. Так что мы, не переодеваясь, ели и ложились спать. Одежда сохла прямо на теле. Мне еще Бог помог, я там пробыл только три недели.

За это время Ежова сняли. Дела стали пересматривать. Меня вызвали для дополнительного расследования. В Алма-Ата меня привели в НКВД, и там следователь совершенно новым для меня тоном, сказал, что дело мое прекращено за отсутствием состава преступления. И когда я спросил: "А я полтора года там мучился?.." Он похлопал меня по плечу и сказал: "Знаешь, бывают ошибки. Это все в прошлом. Я тебе советую забыть об этом и не вспоминать".

Л. Матарассо: Где находился свидетель в момент начала войны?

Кисило: Я был в Харькове. Когда я вышел из лагеря, у меня был туберкулез, поэтому я был освобожден от военной службы. Я работал инженером на заводе.

Л. Матарассо: Когда пришли немцы, каково было его положение?

Кисило: Положение было отчаянное. Был голод, сын весь опух от голода, я делал только одно: ходил по деревням, менял вещи на хлеб.

Л. Матарассо: Так что же, его завод не был эвакуирован?

Кисило: Нет, завод не был эвакуирован, во-первых, потому, что он не имел военного значения, а во-вторых, потому, что ситуация была несколько иной, чем представляет себе господин адвокат. Царила паника. Первыми уехали власти, потом члены партии. Когда я обратился к властям с просьбой: я болен, у меня семья... Мне ответили, что поездов нет.

Л. Матарассо: Когда его арестовали немцы? И где, в Харькове?

Кисило: В 1943 году, в Харькове. Зимой, примерно, в январе.

Л. Матарассо: Когда Харьков был освобожден советской армией? Советские граждане должны это знать. Мы все знаем дату освобождения Парижа. Это его родной город, он должен знать.

Кисило: Не помню точно. Я там в это время не был.

Л. Матарассо: На самом деле, его так называемая депортация почти точно совпадает с освобождением Харькова. Харьков был освобожден в 1943 году.

Кисило: По-моему, он был освобожден году в 44-м, но меня там не было.

/. ../

А. Вюрмсер: Я хотел бы задать несколько простых вопросов, чтобы проверить, не было ли ошибки в переводе.

Свидетель действительно сказал, что ходил пилить лес, с какими-то тряпками на ногах, зимой, при температуре минус 40? Это так?

Переводчик Андроников: Это не тряпки, а березовая кора.

А. Вюрмсер: Хорошо.

Кисило: И было минус 40.

А. Вюрмсер. И у вас на ногах были лапти из березовой коры?

Кисило: Да.

А. Вюрмсер: Когда он возвращался после целого дня работы, в снегу, и шел двенадцать километров, он был в поту и пот замерзал на теле?

Кисило: Мы были абсолютно мокрые от пота и снега,

и когда мы приходили в лагерь, часов в десять вечера, одежда была, как камень, все было замерзшее.

А. Вюрмсер: Он был в поту, и пот на нем замерзал. Ну-ну.

Председатель суда: Он же так и сказал?

А. Вюрмсер: Я больше ни о чем не спрашиваю. Он был весь в поту, проходил двенадцать километров, и влага замерзала у него на теле... Так было переведено, не думайте, что я придираюсь к словам. Еще один вопрос, все это настолько неправдоподобно...

Кисило: Одежда была пропитана потом и снегом, промерзала, все было твердое.

А. Вюрмсер: Я так и понял. Это абсолютно неправдоподобно. Если я правильно понял перевод, свидетель просидел четырнадцать дней без сна, в одной и той же позе, и почти не спал? Он это говорил или не говорил?

Кисило: Я давал показания под присягой. Это чистая правда. Другие свидетели это подтвердят.

Время от времени я терял сознание, падал, меня опять сажали; два раза в сутки меня выводили в уборную по минуте каждый раз; когда я вернулся в камеру, мне сказали, что меня не было четырнадцать дней. Есть мне давали...

А. Вюрмсер: Свидетель сказал, что площадь барака, где он находился, была двенадцать метров на восемнадцать*.

Председатель суда: Да.

А. Вюрмсер: Господин председатель, свидетель — инженер. Насколько я понимаю, это 216 квадратных метров. Если представить себе, что эти 126 человек все ростом 1 метр 80, что немало, то в ширину получается на каждого 80 сантиметров, все могут лежать. Лично я не верю ни одному слову свидетеля, этот инженер что-то плохо придумал размеры своего барака.

Кисило: Место для каждого мы отмеряли спичками. Мне досталось шесть спичек. Мы были, как сельди в бочке. Если бы господин Вюрмсер видел, сколько людей теряли сознание, сколько сходили с ума, он бы не задавал таких вопросов.

* Судя по стенографическому отчету, Вюрмсер называет не ту цифру, которую накануне назвал свидетель.

Председатель суда: Если это так, то размеры, которые вы дали, неверны. Помещение, о котором идет речь, примерно, таких же размеров, как этот зал?

Кисило: Примерно, четверть этого зала.

/.../

Председатель суда: Больше вопросов нет?

Ж. Нордманн: Есть. Свидетель говорил о многом, а о книге говорил мало. По Кравченко выходит, что русский народ находится в полном рабстве у самой невероятной из полиций и вот уже двадцать пять лет живет в условиях постоянного террора. Свидетель согласен с этим?

Кисило: Несомненно, и сейчас то же самое.

Ж. Нордманн: Дальше. Опять же по Кравченко, правители Кремля усеяли степи трупами и превратили в каторжников десятки миллионов людей. Свидетель согласен?

Кравченко: Этого у меня нет, вы говорите неправду, господин Нордманн! Я не говорил о десятках миллионов.

Ж. Нордманн: Нам хотят внушить, что Бухенвальд находится в Сибири. В этом весь смысл процесса. Преступления гитлеровцев хотят переложить на Советский Союз. Вот смысл вашего процесса.

/.../

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 8 ФЕВРАЛЯ 1949 г.

Показания свидетеля СЕМЕНА ВАСИЛЕНКО

Л. Матарассо: Господин Василенко является инженером Главного управления трубостроительной промышленности в Москве. Он родился в 1903 году в том же городе, что и Кравченко. Он работал на том же заводе, что и Кравченко, в Днепропетровске. В 1943—1944 годах он одновременно с Кравченко был в Вашингтоне.

Скажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы впервые услышали о Кравченко?

С Василенко: В 1929 или 1930 году. Мы работали на одном заводе. На заводе стали говорить об одном молодом человеке, который присвоил себе изобретение одного рабочего, выдал его за свое и требовал за него большую награду. А потом мне сказали его имя: Кравченко...

Потом Кравченко работал в Никополе. Я в это время работал в Днепропетровске. Потом я узнал, что его назначили директором строящегося трубостроительного завода в Сибири. Я должен сказать, что это была строительная площадка, завода еще не было. Надо было подготовить место, где должны были строить завод...

В 1943 году я встретил Кравченко в Москве, недалеко от Министерства внешней торговли. Он сказал мне, что едет в Соединенные Штаты.

В США мы с ним работали в разных отделах. Я работал в отделе закупки оборудования. Кравченко работал по приемке металлов.

Я не знаю, как жил и работал Кравченко в Соединенных Штатах. Он не принимал участия в жизни нашей группы советских инженеров. Может быть, у него была какая-нибудь другая компания, но этого я не знаю...

Л. Матарассо: Кравченко говорит в своей книге, что он был директором завода. Так ли это?

С. Василенко: Он никогда не был директором действующего завода.

Кравченко: Я был директором, как и вы, и я это докажу!

Л. Матарассо. Свидетель говорит, что он никогда не был директором.

Кравченко: Он говорит... */Свидетель и истец быстро и горячо говорят по-русски. Шум в зале*./*

Председатель суда: Скажите им, пусть не забывают, что мы по-русски не понимаем, к сожалению.

*Пометка в стенографическом отчете.

Л. Матарассо: Зал, кажется, понимает.

С. Василенко: */перевод Боровского/* Свидетель просит у господина председателя извинения.

Кравченко: Завтра я принесу копию заявления Молотова по поводу этого завода в Сибири. И мое назначение на должность директора.

С. Василенко: На должность директора пустыря, на котором ничего не было.

Кравченко: Кто в этом был виноват? Об этом надо было бы сказать* .

С. Василенко: Это другой вопрос.

Л. Матарассо: По поводу должности, которую Кравченко занимал во время войны, он пишет в своей книге: "Я имел право требовать от народных комиссаров подробных отчетов об их деятельности. Я мог отдавать им приказания... Я мог вызвать их к себе в кабинет в любой час дня и ночи..."**

С. Василенко: Это плод воображения этого господина. Это абсурд.

Кравченко: Вам заплатили за то, чтобы вы это тут говорили!

С. Василенко: Это вам заплатили за то, что вы изменили своей родине!

* В 1939 году приказом Наркома черной металлургии В. А. Кравченко был назначен директором большого металлургического комбината, который должен был быть построен в Сибири, в городе Сталинске. Прибыв на место, Кравченко установил, что в силу целого ряда природных и других условий строить завод на намеченном участке невозможно, о чем он и сделал соответствующий доклад в Москве. От проекта, на который было затрачено много времени и средств, пришлось отказаться. Кравченко был назначен директором строившегося трубопрокатного завода в Кемерово. В конце 1939 года, когда строительство было в самом разгаре, из Москвы пришел приказ приостановить работы. Кравченко был переведен в Москву и назначен главным инженером одного из московских трубопрокатных заводов.

** В мае 1942 года Кравченко был переведен на работу в Совнарком, где возглавил отдел, ведавший выпуском военного оборудования. Оттуда, в 1943 году он был направлен на работу в США. Точного наименования должности, которую Кравченко занимал в Совете Народных Комиссаров, в книге "Я выбрал свободу" нет.

Кравченко: Пусть Василенко докажет, что я продался! Завтра вы услышите моих свидетелей, которые знают Василенко!

С. Василенко: Они могут сказать обо мне только хорошее!

Кравченко: Ты тоже обо мне знаешь только хорошее!

С. Василенко: ...А теперь ты все обливаешь грязью, потому что ты продался, ты изменник!

Председатель суда: Переходите к следующему вопросу.

Ж. Изар: Я хочу спросить господина Василенко, был ли он на Украине в 1934 году?

С. Василенко: Да.

Ж. Изар: Что произошло с членами Политбюро Украины, которое существовало до "чисток"? С Коссиором?

С. Василенко: Не знаю.

Ж. Изар: С Затонским?

С. Василенко: Я не помню имен.

Ж. Изар: Это же были члены правительства Украины, когда вы там работали. Балицкий?

С. Василенко: Не знаю.

Ж. Изар: Петровский?

С. Василенко: Он работает в Москве.

Ж. Изар: Его не вычистили?

С. Василенко: Нет.

Ж. Изар: Хатаевич?

С. Василенко: Я не знаю, где он.

Ж. Изар. Конечно! Сухомлин?

С. Василенко: Я не помню такого имени.

Ж. Изар: Якир?

С. Василенко: Не знаю.

Ж. Изар: Речь идет о Политбюро Украины, которое известно всем. Я понимаю, что он немножко потерял память... Вы хорошо знаете Днепропетровскую область?

С. Василенко: Я хорошо знаю Днепропетровскую область.

Ж. Изар: Я прочту вам фамилии секретарей обкома большевистской партии. Какова их судьба. Семенов?

С. Василенко: не знаю.

Ж. Изар: Марголин?

С. Василенко: Не знаю.

Ж. Изар: Строганов?

С. Василенко: Не знаю.

Ж. Изар: Хатаевич?

С. Василенко: Не знаю.

Ж. Изар: Вычистили их всех четверых!

К. Морган: Это говорите вы!

Ж. Изар: Картося, директор завода металлооборудования?

С. Василенко: Я не знаю, где он находится.

А. Вюрмсер: Это телефонный справочник!

Ж. Изар: Это тюремный справочник!

А. Вюрмсер: Сказать все можно! Если вы меня спросите, где сейчас люди, которых я знал двадцать лет назад, откуда я знаю... Спросите меня, где сейчас Гастон Галлимар, который печатал мои книги двадцать лет назад, я не знаю! Что это такое?

Кравченко: Василенко знает все имена, которые перечислил господин Изар, он их всех знает и знает, где они, он знает, что они в тюрьмах или лагерях.

С. Василенко: Неплохое место для выбора друзей. Почему вы защищаете таких людей?

Ж. Изар: Ах, это были "такие люди"? Он это признает?

А. Вюрмсер: Да нет, нет!

Ж. Изар: Верно ли, что в 1937 году существовали суды, называемые тройками, которые имели право в административном порядке и заочно приговаривать людей к высылке, к концлагерю на неопределенный срок или к расстрелу?

С. Василенко: Я никогда не вмешивался в дела Министерства внутренних дел.

Ж. Изар: Верно ли, что после расстрела Ягоды и Ежова Особое Совещание получило право, и сохраняет его до сих

пор в административном порядке отправлять в концлагерь на восемь лет?

С. Василенко: Я не знаю Уголовного Кодекса.

Ж. Изар: Отрицает ли он, что Центральный Комитет Коммунистической партии...

С. Василенко: Я приехал сюда не для того, чтобы отвечать на подобные вопросы.

Ж. Изар: Имею я право у него спросить, верно ли, что из самого высокого органа коммунистической партии вычистили 38 членов из 71?

Председатель суда: Вы имеете право спросить, но он имеет право не отвечать.

Ж. Изар: Конечно, но его отказ меня интересует.

Кравченко: Я говорил об этом в книге.

Альперович*: Был ли свидетель на Украине в 1930—1938 годах?

С. Василенко: Был.

Альперович: Случалось ли ему гулять за городом?

С. Василенко: Давайте покончим с этим; я гулял по городу Днепропетровску.

Альперович: Свидетель никогда не выезжал из города?

С. Василенко: Нет.

Альперович: Может быть, он все-таки слышал о коллективизации, о ликвидации кулачества и о голоде, который, говорят, свирепствовал на Украине в 1930—1932 годах?

С. Василенко: Мероприятие, которое называется ликвидацией кулачества на базе коллективизации, действительно, было проведено нашим правительством.

Альперович: Отрицает ли свидетель, что ликвидация кулачества была проведена методами террора, что этот террор вынудил крестьян к массовому забою скота, который вызвал страшный голод в 1930-1932 годах?

С. Василенко: Я могу сказать, что это было очень широкое государственное мероприятие. Были отклонения, ошибки со стороны некоторых работников. Пэтому Центральный Комитет принял ряд решений, в которых обязывал партийные и советские организации не прибегать к насильственным методам и устранить недостатки. Эти решения опубликованы и всем известны.

Кравченко: Память к нему вернулась.

/.../

Показания свидетеля ЖАКА-МОРИСА-РАУЛЯ НИКОЛЯ

М. Брюгье: Господин Жак Николь является выдающимся французским университетским деятелем. Он сейчас ассистент в Коллеж де Франс. Он несколько раз был в Советском Союзе.

Ж. Николь: Господин председатель, я имел честь несколько раз приезжать в Советский Союз по приглашению Академии наук СССР. В 1946 году я был приглашен президентом Академии наук Сергеем Вавиловым на три месяца для изучения организации научно-исследовательской работы в СССР. Я посетил много научных учреждений, я был во многих семьях, я жил в четырех гостиницах Москвы и Ленинграда...

Председатель суда: Вы говорите по-русски?

Ж. Николь: Понимаю и немного говорю. Я разговаривал со многими; я ученый, и я применял как метод наблюдения, так и метод экспериментирования. Я многое наблюдал и сам вызывал людей на разговоры.

В 1938 году, в полночь, на границе, советские пограничники увидели у меня письмо от Поля Ланжевена к академику Иоффе. Пограничники воскликнули: "А, господин Поль Ланжевен, великий французский ученый!".

Мои отношения с советскими гражданами показали мне, что они очень развитые и образованные. Все шоферы, которых мне давали в Академии наук, прекрасно знали Францию, французских ученых, французскую литературу, музыку. Я встречался со многими учеными и артистами, я встречался с Николаем Крыловым, выдающимся математиком; он бывший помещик, он совершенно свободно работает и делает все, что хочет. Я встречался с академиком Линой Штерн, директо-

* Помощник адвокатов обвинения.

ром Московского института философии, которую все знают, с академиком Несмеяновым, с профессором Гамалеей, это, по-моему, единственный оставшийся в живых ученик Пастера... Все лаборатории активно работают, университеты полны, лаборатории полны... В 1945 году французская делегация была на банкете у маршала Сталина, и там были все члены советского правительства и все маршалы Советского Союза. Очень странно читать в книге Кравченко, что все эти люди исчезли, я же их видел...

Э й с м а н н: Вы не читали книгу?

Ж. Н и к о л ь: Читал.

Ж. И з а р: Вы видели тех, кто остался.

Ж. Н и к о л ь: Я принес присягу, я говорю правду.

Ж. И з а р: Я не сомневаюсь в вашей порядочности.

М. Б ю р г ь е: Вы присутствовали в Москве на одном из процессов. Какое впечатление он на вас произвел?

Ж. Н и к о л ь: Я присутствовал в 1945 году в Москве в Колонном зале на процессе шестнадцати поляков. Я должен сказать, что все обвиняемые были прекрасно одеты. Когда они просили, им приносили чай. Они могли справляться со своими записями, и вообще они совершенно не были похожи на людей, на которых кто-нибудь оказывал какое бы то ни было давление. Впрочем, на допросе они показывали один на другого и практически они были пойманы с поличным, им было очень трудно отрицать.

Прокурор, кстати, проявил большую снисходительность, и, насколько я помню, главный обвиняемый получил только десять или пятнадцать лет.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 14 ФЕВРАЛЯ 1949 г.

Показания свидетеля ГОВОРОВА

М. Б л ю м е л ь: Генерал Говоров был начальником главного штаба русской императорской армии. Он был начальником штаба Белой Армии. В 1923 году он эмигрировал во Францию и с тех пор живет здесь.

Г о в о р о в: Я солдат и патриот своей родины, и все, что касается престижа и благополучия моей страны, не может не трогать моего сердца, так же, как и сердца моих соотечественников, живущих во Франции. Если бы речь шла только о книге Кравченко, на этот вопрос можно было бы не обращать внимания. Но Кравченко вынес это дело на суд, и мы не можем остаться равнодушными. Мы должны сообщить высокому суду, что среди выходцев из нашей страны мнения существуют различные...

В большинстве вопросов, затронутых в книге Кравченко, я не компетентен. Но я считаю, что Кравченко, дезертир и изменник, доверия не заслуживает. В большинстве случаев факты, о которых он рассказывает, или ложны, или противоречивы. Что же касается выводов, то они необоснованны и не логичны...

Показания свидетеля ЖЮЛЯ КОТТА /инженер, 71 год/

Ж. Н о р д м а н н: Господин Котт — инженер, он жил в России и в Советском Союзе с 1910 года. В 1946 году он опубликовал книгу "Французский инженер в Советском Союзе".

Ж. К о т т: Я жил в России 11 лет, с 1911 года по 1919 год и с 1929 года по 1932 год...

У Кравченко идет речь о чистках. В книге говорится:

"Волнение в зале заметно нарастает. Толпа почувствовала запах крови".

Выходит, что Кравченко сравнивает чистку с чем-то вроде боя быков. Я такого не видел. Я иногда видел совершенно противоположные вещи. Люди стремились всячески обелить человека, который проходил чистку. Вот я видел допрос, например, Пушкина. Его приговорили к смерти во время процесса Пятакова... Он был директором моего треста, он жил со мной в одном доме. Ну вот, приходит Пушкин. Ему задают серьезные вопросы и видят, что ему тут нечего делать, и тогда стали спрашивать всякие глупости: Вы пьете? А что вы в кофе наливаете? И выкрикивали что-то. Это было скорее весело.

Конечно, надо сказать, что это так было не всегда. Потом, в 1938 году...

Председатель суда: Его что, потом осудили?

Ж. Котт: Да, на смертную казнь */смех в зале/.*

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 15 ФЕВРАЛЯ 1949 г.

/Накануне в газетах было сообщено о том, что генерал Руденко прибудет специально из Москвы на самолете для дачи показаний в суде. Он появляется в военной форме*, в сопровождении адьютанта. Председатель суда спрашивает с удивлением**/

Председатель суда: Разве свидетелей двое?

Секретарь суда: Господин председатель, они отказываются расстаться друг с другом.

Председатель суда: Не знаю, как быть. Господин переводчик, спросите второго офицера, должен ли он тоже давать показания.

М. Блюмель: Нет, не должен.

Председатель суда: Ну, ладно.

М. Блюмель: Генерал Руденко является генерал-лейтенантом военно-воздушных сил. Он депутат Верховного Совета, участник Сталинградской битвы. С 1943 по 1946 годы был начальником Советской закупочной комиссии в Вашингтоне. Награжден двумя орденами Ленина и многими другими орденами и медалями.

Генерал Руденко: Господин председатель, прежде всего, я хотел бы высказать свое мнение — мнение советского генерала — об этом деле. Я считаю, что присутствующий здесь Кравченко, гражданин неизвестно какой страны, является изменником родины. Я считаю, что это офицер, который нарушил свою присягу, что это военный преступник, что это уголовный преступник. Он совершил свои преступления в то время, когда его родина проливала кровь в защиту общих интересов демократических народов. За свои преступления Виктор Кравченко должен предстать перед военным трибуналом Союза Советских Социалистических Республик. Впервые в анналах правосудия дезертир, нарушивший присягу, изменник родины, уголовный преступник, появляется в суде не как обвиняемый, а как истец. Я считаю своим долгом перед всем демократическим человечеством помочь правосудию выяснить истину и вынести справедливый приговор.

* Во Франции военнослужащие, особенно офицеры и генералы, не появляются в военной форме в общественных местах.

** Пометка в стенографическом отчете.

Дело, о котором идет речь, относится к концу 1943 года.

Я занимался подготовкой наступления Красной Армии на Северо-Западном фронте. В этот момент я получил приказ покинуть фронт и срочно выехать в Москву. Там я получил назначение на должность начальника Советской закупочной комиссии в Соединенных Штатах Америки.

Закупочная Комиссия была организацией военного времени, созданной исключительно для того, чтобы обеспечить потребности фронта. Под моим руководством было около тысячи служащих...

По приезде я в течение некоторого времени знакомился с персоналом и с обстановкой. В середине февраля я получил рапорт от начальника секции металлов Романова. Он обращал мое внимание на инженера по приемке Кравченко, который несознательно относился к своим обязанностям, нарушал установленную трудовую дисциплину, появлялся на работе в нетрезвом виде...

Кравченко: Вы нагло лжете! Вы же это сами знаете.

Генерал Руденко: Я просмотрел личное дело Кравченко и принял решение отправить его обратно в Советский Союз. Чтобы не нарушать преемственности в работе, Романов счел необходимым, чтобы Кравченко закончил приемку труб с ряда складов...

3 апреля 1944 года я узнал из сообщений печати, что военный инженер третьего ранга Кравченко нарушил присягу и отказался вернуться на родину. Четвертого апреля приказом по Комиссии я исключил Кравченко из состава Комиссии как дезертира и изменника...

Я должен напомнить, что положение на фронте в этот момент было чрезвычайно ответственным. Наша армия наноси-

ла немецким войскам удар за ударом. Весь персонал Комиссии день и ночь трудился для фронта. Мы следовали примеру героических воинов советской армии, которые ценой своей крови, ценой своей жизни защищали родину и все демократическое человечество от фашистского ига. Я никогда не забуду героических подвигов французских летчиков эскадрильи "Нормандия—Неман"...

Мы проливали кровь вместе, до сих пор советский народ чтит те места, где погибли французские пилоты; как раз в тот момент, 6—7 апреля и в последующие дни, немецкое радио на всех языках мира распространяло заявление Кравченко. Фашисты утверждали, что его заявление — это начало распада коалиции союзников. Таким образом, Кравченко...

Кравченко: Вы лучше расскажите, как вы им помогали с 1939 года!

Генерал Руденко: Я могу продолжать, господин председатель?

Председатель суда: Продолжайте.

Генерал Руденко: Я хочу добавить только одно. Кравченко не одинок. За ним стоят все реакционные силы Соединенных Штатов Америки. Им нужен такой человек для объединения сил реакции, для поджигания новой войны...

Мы строим мир. Мы заставляем природу отдать нам свои богатства. Мы поворачиваем реки вспять, мы создаем оазисы там, где была пустыня...

Кравченко: Вы бы сначала вернули людям свободу, а потом бы уж оазисами занимались! */В зале нарастает шум./*

Председатель суда*:/обращаясь к переводчику/* Пожалуйста, скажите ему, что если публика будет вести себя столь невежливо по отношению к иностранному генералу, который дает показания во французском суде, я прикажу вывести зрителей из зала. Передайте ему, пожалуйста.

Генерал Руденко: Изучение личного дела Кравченко показывает, что он всегда испытывал отвращение к военной службе. За всю жизнь он провел на военной службе только одиннадцать месяцев... Он обманул своих начальников, обманул врачей и под предлогом болезни устроился в каком-то

тресте. В этом тресте до сих пор не разберутся в его деятельности. Там обнаружена растрата в 150 000 рублей...

Кравченко: Это скандал! Он лжет! Вы же знаете, что он лжет!

Председатель суда: Попросите его не оскорблять свидетеля.

А. Блюмель. У меня вопрос к свидетелю. Кравченко рассказывает в своей книге о чистках. Может ли генерал Руденко, основываясь на своем личном опыте, рассказать об условиях, в которых принимались эти меры, об их цели и об их результатах?

Генерал Руденко: Я считаю, что этот вопрос выходит за рамки данного процесса.

Кравченко: Это одна из тем книги!

Генерал Руденко: В книге тоже было бы неплохо говорить правду. Я, во всяком случае, считаю, что советское правительство и советский народ вовремя провели необходимую чистку и сделали полезное дело. И у нас не было пятой колонны и не было измен.

Ж. Изар: Он говорил об эскадрилье"Нормандия—Неман". Тут выступал господин Муанэ. Он говорил, что не получает ответов от своих советских товарищей по эскадрилье. Почему герои войны не могут переписываться?

Генерал Руденко: Я считаю, что этот вопрос выходит за рамки процесса, и не намерен на него отвечать.

Ж. Изар: Господин Руденко говорил, что Кравченко обманул врачей, чтобы избавиться от военной службы. Генерал Руденко дает показания под присягой — откуда у него доказательства?

Генерал Руденко: Доказательство у вас перед глазами. Он жив и здоров и прекрасно мог бы сражаться.

Ж. Изар: И это все ваши доказательства?

А. Вюрмсер: Этого достаточно.

Кравченко: Господин Руденко тут говорил, как меня использовали немцы. Я зато знаю, как немцы использовали советские материалы и оборудование. По советско-германскому договору Советский Союз должен был поставить Гер-

мании: 1 000 000 тонн зерна, 900 000 тонн нефтепродуктов, 100 000 тонн хрома, 500 000 тонн легированной стали, 3000 тонн никеля, 900 000 тонн цинка... Что было важнее для Гитлера? Вырезка из американской газеты или вооружение для армии? Тут господин Руденко проливает слезы по поводу франко-советской дружбы, но ведь этим нашим металлом вы убивали французов, женщин и детей! Вы преступники!

Переводчик Боровский: Кравченко добавил: Вы уголовные преступники!

Ж. Нордманн: Это непристойная провокация! Перед нами генерал, который сражался под Сталинградом!

Председатель суда: Я очень сожалею, я совершенно с вами согласен, но Кравченко только повторяет слова, которые ему говорил свидетель.

Генерал Руденко: Господин председатель, я вам больше не нужен?

Ж. Изар: Он нужен господину председателю для ведения дела. Кравченко не кончил. */ В зале нарастает шум. Бурная перепалка между адвокатами по вопросу о том, должен ли Руденко уйти или остаться в зале. Шум все растет./*

Ж. Нордманн: Защита выражает генералу Руденко благодарность и уважение. */Генерал Руденко уходит./*

А. Вюрмсер: ...И поздравляет его с тем, что он не пожелал выслушивать оскорблений по адресу России. */Шум все растет. Вслед за генералом Руденко выходят все советские свидетели, присутствовавшие в зале. /*

А. Вюрмсер: И вы думаете, что герой Сталинграда отступит перед этим?

Ж. Изар: Да вот отступил... */Зал бурно протестует/*

Председатель суда: В такой обстановке продолжать невозможно. Объявляю перерыв.

Из показаний свидетеля ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА

Л. Матарассо: Господин Познер является французским писателем русского происхождения. Многие его произведения переведены на ряд иностранных языков. Он сам много переводил с русского языка, в частности, Толстого и Достоевского. Кроме того, он долго жил в Америке, является членом Американского общества литераторов и поэтому знает американскую литературу так же хорошо, как русскую. Он будет говорить о литературной стороне книги Кравченко.

В. Познер: Первое, что поражает при чтении английского издания книги Кравченко, это то, что она гораздо больше похожа на американскую литературную продукцию, чем на любую книгу, написанную в России. В Америке существует мода на определенный вид литературы: это полухудожественные книги, иногда так называемые биографии, исторические романы, которые не являются настоящей литературой. Это окололитературные поделки, романы для мидинеток; они подчиняются определенным правилам написания. Вот такую литературную продукцию и напомнила мне эта книга. ...Эта книга — американская, американская на сто процентов.

Почему я читал эту книгу в английском издании? Потому что, так как я сам переводил и меня переводили, я знаю, что при чтении книги всегда видишь, написана ли она на том языке, на котором ее читаешь, или перед тобой перевод.

У пишущих часто возникают литературные реминисценции из области своего языка. Так например, мы цитируем Мольера или Лафонтена, не замечая этого. В этой книге тоже есть такие примеры. Вот на странице 133 английского издания читаем:

"It was a Roman holiday..."

То есть, ''римский праздник"... Это выражение из стихов Байрона, которое вошло в пословицу*.

Или на странице 173:

"...the knowledge that she was a secret police agent was ever a ghost at the banquet of our affections **".

---

* Байрон, "Путешествие Чайльд-Гарольда": "...he, their sire, Butcher'd to make a Roman holiday,..". Byron, Childe Harold's Piligrimage, canto IV, CXLI.

** Буквально: "Сознание, что она была агентом тайной полиции всегда было как бы привидением на банкете нашей любви".

Во французском издании это переведено так:

"Тот факт, что она была агентом тайной полиции, бросал тень на нашу любовь".

Но это неточный перевод. В английском тексте имеется явный намек на привидение, появляющееся во время банкета в "Макбете".

С точки зрения уже не литературы, а образа мышления, я тоже обнаружил в этой книге вещи, которые кажутся мне непонятными, если они написаны человеком из Советского Союза.

В описании гостиницы "Метрополь" на странице 83 американского издания сказано:

"На многих женщинах были вечерние платья очень смелого покроя, каких я никогда не видел, разве что на обложках иллюстрированных журналов..."

Покажите мне хоть одну советскую книгу, на обложке которой была бы декольтированная женщина. А в Америке это самое обычное дело. А ведь это происходит задолго до поездки автора в Соединенные Штаты!..

Председатель суда: Вопросов нет?

Ж. Изар: Я просто хотел бы сказать, что в соответствии с мнением господина Познера, эту книгу написали в Америке, и написал ее человек, думающий по-американски. Это мнение господина Познера — доказательство того, что Сим Томас солгал, когда заявил, что книгу написала группа меньшевиков; меньшевики, насколько я знаю, русские, а не американцы.

Из показаний свидетеля ЖАНА БРЮА

Л. Матарассо: Свидетель является преподавателем истории и автором ряда работ о Советском Союзе. Я хочу спросить у Жана Брюа, что он может сказать о книге Кравченко как специалист по Советскому Союзу.

Ж. Брюа: Чтобы не было недоразумений, скажу сразу: лично я Кравченко не знаю и в Советском Союзе никогда не был.

...Прежде всего, по вопросу о голоде. Первые страницы книги посвящены описанию голода в Советском Союзе. При этом ничего не говорится о голоде при царском режиме. А ведь известно, что в царской России это было постоянное явление...

Кроме того, в этой книге есть еще один очень важный пробел. Да, в России был голод в 1931—1932 годах, но в книге не сказано, а это очень важно для историка, что это был последний голод в истории России. Из этого следует научно-обоснованный вывод о том, что голодные годы были явлением русским, а не советским. Не хочу утомлять вас деталями, но все-таки мы знаем, что производство зерна выросло в Советском Союзе с 70 миллионов тон в 1913 году до 110 миллионов в 1940 году, а в 1950 превзойдет эти цифры...

Теперь я перехожу к вопросу о кулачестве. В этой книге говорится о кулаках очень неопределенно, так что каждый французский крестьянин, даже мелкий, прочтя "Адскую жатву"*, будет считать, что он кулак; а ведь кулак, как известно, — это крестьянин, который не только владеет большим участком земли, но и эксплуатирует наемную рабочую силу в довольно большом количестве.

В 1929 году проблема... заключалась в том, чтобы механизировать сельское хозяйство, а для этого ввести кооперативную систему работы. Нужно сказать, что выражение "ликвидация кулачества как класса" может быть понято неправильно. А ведь оно очень простое. Вспомните, в 18-м веке, когда Вольтер критикует парламенты, он часто говорит о ликвидации парламентариев как представителей определенного института. А Вольтер совершенно не имел в виду, что их надо уничтожать каждого по отдельности.

Конечно, это было трудное дело, это был один из трудных моментов в истории Советского Союза. У тех, кто этой истории не знает и кто прочтет "Я выбрал свободу", естественно,

* Название одной из глав книги Кравченко.

появится впечатление, что там были одни жестокости и насилия и что *все* они были только с одной стороны. Но ведь можно прочесть — есть французский перевод — роман Михаила Шолохова "Поднятая целина", и у нас останется совсем другое впечатление от борьбы с кулаками...

И теперь я подхожу к третьему вопросу — к вопросу о чистках. Чистки в большевистской партии не представляют собой абсолютно ничего таинственного. Каждый советский гражданин, который вступает в большевистскую партию, знает, что он берет на себя определенные обязательства. В частности, он обязывается в любой момент публично, давать отчет о своей деятельности, и это называется чисткой. Те из нас, кто не совсем забыл историю Франции, знают, что чистки существовали в период якобинцев. Позволю себе привести анкету, выработанную якобинцами. Мы увидим, что в этом деле большевики являются продолжателями французской традиции:

"Кем ты был в 1789 году?
Что ты делал до 1793 года?
Каково было твое состояние в 1789 году?
Если с тех пор оно увеличилось, то с помощью каких средств?
Что ты сделал для революции?.."

Подобные анкеты фигурируют на допросах, о которых идет речь в книге "Я выбрал свободу".

/.../

Ж. Изар: Я хотел бы спросить у свидетеля, является ли он членом коммунистической партии?

Ж. Брюа: Охотно отвечаю вам, что я являюсь членом коммунистической партии вот уже двадцать лет и что этот факт ни разу не оказался в противоречии ни с моим национальным чувством, ни с моим стремлением к истине.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 16 ФЕВРАЛЯ 1949 г.

Из показаний свидетеля ВАСИЛИЯ ЛУЗНИ

В. Лузня: */перевод с украинского/* Я работал во время немецкой оккупации на железной дороге в Запорожье. Запорожье окружили, меня угнали в Германию. Я там работал слесарем.

Председатель суда: Кто его освободил?

В. Лузня: Американцы.

Председатель суда: Почему он не вернулся в Россию?

В. Лузня: Потому что я выбрал свободу*.

На Украине, в 1932—1933 годах я видел страшный голод. Ели людей. В деревне Ипатьевка, на Днепре, крестьяне отрыли павшую лошадь и съели, их всех расстреляли.

До 1936 года я скитался по разным городам Украины. В 1936 году меня арестовали. Меня обвинили в том, что я хотел взорвать электростанцию под Кривым Рогом. Но я заявляю здесь, перед этим судом, что до сих пор не знаю, где она находится. После долгих пыток и допросов я признал, что хотел ее взорвать. Допрашивали меня шесть месяцев, а потом предложили подписать бумагу, что я соглашаюсь сотрудничать с НКВД.

Я подписал эту бумагу. Меня освободили. Я убежал в другой город, работать с НКВД я не хотел.

Я жил в разных городах. В 1941 году меня опять арестовали. Двенадцать дней подряд допрашивали. Я решил или покончить с собой или убежать в Сибирь.

А. Вюрмсер: Ну и как, покончили с собой?

В. Лузня: Тут началась война, и все пошло по-другому.

Я хочу сказать суду одну вещь... То, что написал Виктор Кравченко, это только малая часть всех мук, которые терпит украинский народ и другие народы в Советском Союзе, и

* В 1930 году семья свидетеля была раскулачена, хотя наемных работников у них не было, и отправлена в район Вологды. Там все погибли. Он один убежал, и ему удалось вернуться на Украину.

эти муки нельзя ни описать, ни понять, это выше сил человеческих. Один тиран пал: гитлеровская Германия, и тогда люди увидели Дахау и Бухенвальд. Но я говорю вам, что есть еще сотни Дахау и сотни Бухенвальдов. Я кончил.

Ж. Нордманн: Французов, действительно, принимают за идиотов.

Председатель суда: Вопросов нет?

Л. Матарассо: Когда и на каком языке он прочел книгу Кравченко?

В. Лузня: Мне ее прочли, мне ее переводили с французского. В лагере был один человек,который знал французский.

Л. Матарассо: Где вы были, когда началась война? Вы были военнообязанным?

В. Лузня: Нет, я был железнодорожником, их не брали в армию.

Л. Матарассо: Когда пришли немцы, вас не эвакуировали?

В. Лузня: Эвакуация была, но последние поезда не смогли уйти, немцы подошли к Запорожью не с запада, а с востока.

Л. Матарассо: И он продолжал работать во время немецкой оккупации?

В. Лузня: Я не работал на железной дороге. Я ушел за 130 километров и работал в деревне слесарем.

Л. Матарассо: А немецкие власти знали, что вы были осуждены советскими властями?

В. Лузня: Нет.

Л. Матарассо: Когда немцы ушли из его деревни?

В. Лузня: Осенью 1943 года.

Л. Матарассо: А его когда увезли?

В. Лузня: Раньше, не помню точно.

Л. Матарассо: Ну, мы поняли, это было тогда же.

/.../

Л. Матарассо: Кто просил вас выступить на процессе Кравченко?

В. Лузня: Я сам написал письмо в АПИА и предложил. И мне ответили согласием.

Л. Матарассо: Что такое АПИА?

В. Лузня: Я не знаю. В газете "Украинец" было написано о процессе и было сказано, что АПИА занимается этим делом, там был адрес.

Ж. Изар: АПИА — это литературное агентство Кравченко в Париже.

Л. Матарассо: Свидетелей собирают по объявлениям в газете!

Ж. Изар: А что вы думаете, свидетели падают к нам с советского неба?

А. Вюрмсер: Это очень звездное небо, мэтр Изар!

Ж. Изар: Ну, там иногда и молоты попадаются...

М. Бюргье: Как считает свидетель, советские власти когда-нибудь арестовывали виновных, или всегда только невинных?

В. Лузня: Насчет виновных я не знаю, а что они арестовывали всех невинных, это точно!

А. Вюрмсер: Это правительство маньяков...

А. Брюгье: Присутствовал ли свидетель при сценах каннибализма?

В. Лузня: Сам не видел, но в деревне, где я был, арестовали женщин, которые съели своих детей.

К. Морган: О!

Ж. Нордманн: У меня один вопрос: кто ему написал текст его выступления?

Ж. Изар: Его несчастья, мэтр Нордманн.

Ж. Нордманн: Благодарю вас. Кто-то ест лошадей, их расстреливают, потом убивают детей, потом арестуют женщин, которые их едят.

К. Морган: Чтобы мать съела своего ребенка, да этого никто никогда не видел!

Ж. Нордманн: Вам все кажется, что сейчас 1918 год, вам хочется опять разжечь войну против Советского Союза!

Показания свидетеля МИХАИЛА ШЕБЕТА

/38 лет, чернорабочий, работает шахтером в Бельгии/

Ж. Эйсман: Попросите свидетеля кратко рассказать историю его семьи.

М. Шебет: Я неграмотный, мне коротко рассказать будет трудно. За свою жизнь я побывал в восьми советских тюрьмах и двух концлагерях. Жив остался чудом.

Председатель суда: За что он был арестован?

М. Шебет: Мои родители были крестьяне. У них было три гектара пашни и три гектара покосов, которые им дали при разделе земли. В 29-м началась коллективизация. Приехали коммунисты, агитаторы... Отец не хотел записываться в колхоз, другие крестьяне тоже, и туда пошли одни лодыри...

Ж. Нордманн: И СССР собирается покрыть 20 процентов потребностей Западной Европы в пшенице руками лодырей?

М. Шебет: К 30-му году у нас забрали все, до последнего килограмма зерна... 15 марта 1930 года к нам пришел представитель ГПУ с двумя активистами, и они нам объявили, что вся наша семья арестована.

Председатель суда: Почему?

М. Шебет: Потому что, когда у нас уже все забрали, ничего не осталось, они наложили на нас еще налог 200 пудов пшеницы. Или бери ее, где хочешь, или иди в колхоз. Нас заперли в нашем же доме и держали три дня. А потом отправили... мы не знали, куда.

Председатель суда: Пусть рассказывает сразу, куда их привезли.

М. Шебет: Нас привезли в лагерь... Там начальник сказал, что женщины и дети останутся в этом лагере, а мужчин отправят строить другой лагерь. Мужчины не хотели уходить. Тогда начальник позвонил в город. Пришел отряд из ГПУ, нас окружили, выбрали 10 человек и расстреляли.

Председатель суда: Почему?

М. Шебет: Потому что они требовали, чтобы семьи отправили вместе с ними... А нас погнали за 150 километров, а потом мы шли еще 40 километров. Пришли вечером в тайгу, там ничего не было, жить негде. Нам велели строить шалаши... Многие были больны, мы не спали, замерзли...

Председатель суда: Не может ли он держаться поближе к делу и говорить о важных фактах, интересующих суд? Что кто-то из них страдал от холода и не спал ночь, это понятно...

М. Шебет: Я не могу короче, все эти факты важные и страшные... Если вы хотите меня выслушать, дайте мне говорить!

Ж. Нордманн: А у него там не найдется сокращенного издания его речи?

Председатель суда: Мэтр Нордманн, соблюдайте приличие! Это русский крестьянин, выслушайте его! Имейте терпение.

А. Вюрмсер: О, терпения у нас хватает!

М. Шебет: Я там пробыл больше месяца. Мы жили все время в шалашах. Люди болели, умирали, без всякой помощи. Я решил убежать... Я добрался до Макарихи, где была моя семья... Там нас всех забрали и отправили на 10-й километр...

Председатель суда: Поймите, нам это безразлично... 10-й километр... Пусть побыстрее все-таки!

М. Шебет: В 1932 году, после... */переводчик мнется — какого-то — не понимаю — головокружения у Сталина/*

Переводчик Боровский: "Головокружение от успехов"... Это цитата.

М. Шебет: ...мою семью отправили обратно домой. А я в это время жил в Архангельске, по чужому паспорту...

Председатель суда: Был ли он свидетелем каких-нибудь зверств? Видел ли он более или менее ужасные вещи, которые могут интересовать суд? Пусть кратко расскажет о зверствах и ужасах, которые он видел.

Ж. Нордманн: Конечно, у немцев он зверств не видел...

М. Шебет: Я вернулся домой, меня опять арестовали, таскали из одной тюрьмы в другую; тюрьмы были перепол-

ненные, грязные... Люди умирали без всякой помощи, от болезней, от голода...

Л. Матарассо: Пусть расскажет, как он оказался в Германии.

Председатель суда: Кто его угнал в Германию?

М. Шебет: Немцы... Я был в лагере в Дудерштадте, работал на заводе...

Председатель суда: Кто его освободил?

М. Шебет: Американцы.

Председатель суда: Почему он не вернулся в Россию?

М. Шебет: Как это вы?.. А вы, что, вернулись бы?

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 23 ФЕВРАЛЯ 1949 г.

Показания свидетеля ПАСКАЛЯ КИАРЕЛЛИ /коммивояжер, 64 года/.

Ж. Эйсманн: Прошу вас рассказать немного о себе и сказать, где вы выучили русский язык.

П. Киарелли: Я ученик Ленина, Троцкого, Плеханова. Я старый революционер.

Председатель суда */обращаясь к защите/:* Я бы вас просил там не хихикать. Это невежливо по отношению к свидетелю и неприятно для суда. Вечно эти насмешки...

П. Киарелли: Я хочу сказать, что я не какой-нибудь там правый.

Русский язык я выучил со всей этой бандой русских, которые были в Париже, подготавливали русскую революцию, вы это, наверное, знаете, вы не моложе меня, и вот все они были моими товарищами. Поэтому я и хочу выступить... Я был в Испании, строил там военные заводы, потом, после разгрома, вернулся во Францию, ну и, конечно, попал в тюрьму, просидел двадцать два дня... Потому что передавал оружие в Испанию. Потом я прятал евреев, вы же знаете, как обращались боши с евреями.

Председатель суда: О, да!

П. Киарелли: В общем, так. Я хочу сказать одно. Господин председатель, я прочел книгу Кравченко, поздно, правда, когда процесс уже начался, и я увидел, как его тут кроют, несчастного. А ведь он сказал правду, я-то это знаю!

Председатель суда: А откуда вы знаете правду?

П. Киарелли. А я был переводчиком у русских солдат. В Септеме — между Эксом и Марселем — был лагерь русских военнопленных, которых освободили. Там ни один француз не говорил по-русски. Вот я и был переводчиком. Они меня все называли "папаша", они все удивлялись, что вот француз, а говорит по-русски. Ну, и, конечно, мы с ними подружились, они приходили ко мне, я к ним хорошо относился, по-братски, они голодные были, а я их кормил. Ну, и потом, когда они стали мне доверять, один и говорит: "А нельзя было бы мне остаться во Франции?" А я говорю: "Почему?" А он начал мне рассказывать разные вещи, вот, как у Кравченко. Так я, когда книгу прочел, я сразу сказал — этот ничего не придумал, все правда.

Ж. Изар: А это говорил один русский или много?

П. Киарелли: Их ко мне много ходило.

Ж. Изар: Ну, сколько?

П. Киарелли: Может быть, сотня.

Ж. Изар: И из этой сотни сколько хотело остаться?

П. Киарелли: Все.

Председатель суда: А они вернулись в конце концов?

П. Киарелли: Есть вещи, которые, может быть, опасно говорить. Я не знаю. Но я вам скажу, почему они не хотели возвращаться. Потому что политический комиссар — у них в каждом полку есть политический комиссар — им сказал: "Если вы вернетесь, вас будут считать дезертирами". Понимаете? Ну, а они-то знали, как там пытают, они мне объяснили. Они сказали: это все равно, что у немцев, это одно и то же.

Ж. Эйсманн: Что может сказать свидетель о деятельности политических комиссаров в комиссиях по репатриации?

П. Киарелли: Это вопрос немного щекотливый.

Л. Матарассо: Почему?

П. Киарелли: Если вы противоречите политическому

комиссару, вас сразу берут на заметку; а потом вас передают в НКВД, в ГПУ, полиция задает вам вопросы, заставляет заполнять всякие штуки... Они мне рассказывали. А если комиссар говорит: это изменник, это дезертир, то сразу в Сибирь. И все.

Ж. Эйсманн: Послушайте внимательно мой вопрос: Может ли политкомиссар в лагерях репатриантов оказывать влияние на судьбу русских военнопленных?

П. Киарелли: Конечно, может! Во-первых так: им запрещали общаться с французами, чтобы не разговаривали много. Так меня там сначала считали провокатором, думали, что мне Советы платят, чтобы я вызывал солдат на разговоры.

Ж. Эйсманн: Последний вопрос: Вы потом были в хороших отношениях с советскими солдатами?..

П. Киарелли: Со многими.

Ж. Эйсманн: ...Из тех, что вернулись на родину? Вы имели возможность переписываться с ними?

П. Киарелли: Я им всем дал адрес. Они все обещали мне писать. А получил я, может быть, одно письмо из пятидесяти.

Ж. Нордманн: Неблагодарные!

П. Киарелли: Я знал бывших шоферов такси, которые вернулись в Россию. Я им всем сказал, могу даже фамилию сказать... Нет, не знаю, а то ему еще там достанется... Я вам скажу: они уехали. Я им сказал: "Напишите, пожалуйста, правду, можно ли в России жить". Никто не написал!

Ж. Нордманн: Вы не собираетесь туда поехать?

П. Киарелли: После того, что я тут говорил, я оттуда бы не вернулся!

Председатель суда: Вопросов нет?

Ж. Нордманн: Вопросов нет, но вот статистика, которая заинтересует суд: количество советских граждан, находившихся в лагерях для перемещенных лиц в 1948 году. В июле 1947 года их было 7800, в июне 1948— 4727. Вот это — патриотизм советских людей, и это опровергает то, что нам тут говорят.

П. Киарелли: Он путает с теми, кого угнали. Это же

были не депортированные. Это были освобожденные русские военнопленные.

Из показаний свидетельницы МАРГАРЕТЕ БУБЕР-НЕЙМАН /писательница. 47 лет. Живет в Стокгольме/.

Ж. Эйсманн: Свидетельница — невестка немецкого философа Мартина Бубера, жена, может быть, вдова Хайнца Неймана, бывшего члена Политбюро немецкой коммунистической партии.

М. Бубер-Нейман: Я выступаю свидетелем на процессе Кравченко потому, что я пять лет провела в Советском Союзе в качестве немецкой коммунистки и на своем собственном опыте узнала, что такое сталинский режим.

С 1926 по 1937 год я была членом германской коммунистической партии. Мой муж Хайнц Нейман, член Политбюро и член Коминтерна, был отозван в 1932 году ввиду его отклонений от политической линии коммунистов.

Я хотела бы сказать несколько слов об этом политическом отклонении.

Председатель суда: Пусть она говорит покороче!

Ж. Эйсманн: Я сам буду прерывать свидетельницу, если увижу, что то, что она говорит, не представляет интереса. Эта деталь важна для хода дела.

Ж. Нордманн: Да, для суда над коммунистической партией!

Ж. Эйсманн: Совсем нет!

М. Бубер-Нейман: Его лозунгом было: Поднять немецкую партию на вооруженную борьбу с национал-социализмом... Осенью 1931 года политический лозунг изменился. Было указано, что бороться с национал-социализмом надо идейным оружием. Товарищ Сталин вызвал Неймана в Москву. Он сказал ему: "Товарищ Нейман, не кажется ли вам, что если национал-социализм придет к власти в Германии, у него будет достаточно забот на Западе, и мы в России сможем спокойно строить социализм?"

Ж. Нордманн: Ну да, он приветствовал национал-социализм!

М. Бубер-Нейман: Нейман остался при своем мнении, и в результате этого его исключили из Политбюро компартии Германии. Так началась его жизнь политического изгоя. Коминтерн послал его в Испанию, а затем отозвал оттуда...

Нейман поселился со мной в Швейцарии. Через девять месяцев его арестовали — у него были не в порядке бумаги. Гитлеровское правительство потребовало его выдачи. В дело вмешался Советский Союз. Советское правительство предложило ему право въезда в Россию. Мы приехали в Москву.

В апреле 1937 года Нейман был арестован. Я искала его в течение нескольких недель, ходила из тюрьмы в тюрьму. В конце концов, я нашла его в центральной тюрьме НКВД, на Лубянке. В России арестованные не имеют права на посещения или на получение писем. Они имеют только право получать 50 рублей в месяц. Я посылала их Нейману с апреля по декабрь 1937 года. Потом он исчез.

В июне 1938 года меня арестовали. Отправили сначала на Лубянку, а потом в Бутырки. В камере на 25 человек нас было 110 женщин. Через несколько недель меня ночью вызвали к следователю. Он прочел мне обвинительное заключение. Вас обвиняют, сказал он, в контрреволюционных действиях и в участии в контрреволюционной организации. Я отрицала. Он заставил меня стоять, отослал в камеру, потом опять вызвал, и так много раз... Следствие длилось два месяца.

Председатель суда: Она говорит, что ее допрашивал следователь, как она его называет. Я предполагаю, что следователь, или кто там это был, не говорил ей просто: вы контрреволюционерка, вы контрреволюционерка... Он же предъявлял ей какие-то определенные факты. Какие это были факты?

М. Бубер-Нейман: Следователь никогда не говорил о конкретных фактах, а только о моей оппозиционной платформе внутри немецкой коммунистической партии...

Затем мне объявили приговор: как социально-опасный элемент, я была приговорена к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Нас — меня и еще восемь женщин — отправили в Караганду. Лагерь под Карагандой примерно в два раза больше Дании, от одного пункта до другого — три железнодорожные станции.

М. Блюмель: Это что, концентрационный лагерь? Прошу меня извинить, но я бы хотел понять. Вы говорите — в два раза больше Дании — это закрытое пространство? Там есть стена?

М. Бубер-Нейман: Там не было стен: там степь. Убежать оттуда нельзя, степь все время прочесывают войска НКВД.

М. Блюмель: В таком случае, господин председатель, это не лагерь. Это принудительное местожительство.

Председатель суда: Сейчас уточним. Где она жила? В гостинице, в доме, в тюрьме?

М. Бубер-Нейман: Внутри лагеря... В землянке, в которой было полно блох и клопов.

Я протестовала, послала жалобу... Тогда меня перевели в спецзону этого лагеря. Зона была окружена колючей проволокой, жить там было тяжелее, кормили хуже, грязи было еще больше.

Я пробыла там до января 1940 года. В январе — это было время германо-советского пакта — меня с двумя другими женщинами /одна была немка, другая русская, жена одного немецкого композитора/ под конвоем отправили в Москву, в Бутырки.

В камере было около двадцати женщин — австрийки, венгерки, немки; их всех привезли из тюрем. Когда нас привезли, мы были голодные; тут нам дали прекрасную пищу, белый хлеб и т. д... Нас одели во все новое, сводили к парикмахеру; каждый день за кем-нибудь приходили, и эти женщины исчезали.

Недели через две вызвали Клару Фатер, Бетти Ольдберг и меня. Нам объявили: "Ваш приговор — пять лет лагеря — заменен немедленной высылкой из Советского Союза". Нас посадили в вагон, там было еще двадцать восемь человек — все коммунисты — немцы, австрийцы; куда нас везут, нам не говорили.

Через три дня нас высадили в Брест-Литовске. Это была граница между частью Польши, занятой немцами, и частью, занятой Советским Союзом. Нас привели к мосту, недалеко от города. С другой стороны моста к нам направилась группа людей. Мы узнали в них эсэсовцев. Нас передали эсэсовцам, они посадили нас в поезд и привезли в тюрьму в Люблин. Там мы оказались в руках гестапо.

НКВД передало гестапо не только людей, но и все касающиеся их документы. На допросах мне говорили: "И вы думаете, что мы вам поверим, будто вас передали нам как жену Неймана? Этого вы нам не докажете. Вас заслали сюда как агента НКВД и Коминтерна."

Председатель суда: Ну хорошо, а потом что с ней было?

М. Бубер-Нейман: Пять месяцев меня допрашивали в гестапо, а потом отправили в Равенсбрюк.

Председатель суда: Вопросы есть?

А. Блюмель: Когда ее допрашивал следователь, подвергалась ли она каким-нибудь пыткам?

М. Бубер-Нейман: Меня не били. Заставляли стоять, угрожали, оскорбляли.

А. Блюмель: Ее не били. Следователь ее не бил.

/.../

А. Блюмель: Вот там, в этой зоне, которая была в два раза больше Дании, что там вообще было? Ну, магазины... Что-нибудь было?

М. Бубер-Нейман: Там было что-то вроде лавки. Те, кто был в спецзоне, не имели права туда ходить. Там было очень мало продуктов: хлеб, конфеты, иногда творог.

Председатель суда: А как вы платили?

М. Бубер-Нейман: Заключенные получали по 20 копеек в день, если выполняли норму.

Ж. Изар: Сколько там стоил килограмм хлеба?

М. Бубер-Нейман: Один рубль.

Председатель суда: А сколько это копеек?

М. Бубер-Нейман: Сто копеек.

Председатель суда: Значит, пять дней работы, чтобы купить кило хлеба.

А. Блюмель: В дополнение, естественно, к той пище, которую им давали. Это была как бы добавка?..

/.../

Ж. Нордманн: До какого времени свидетельница пробыла в Равенсбрюке?

М. Бубер-Нейман: До освобождения.

Ж. Нордманн: Это было в апреле 1945 года. Сколько там оставалось заключенных?

М. Бубер-Нейман: Около 30000.

Ж. Нордманн: Если бы Равенсбрюк освободили на полгода позже, эти женщины были бы еще живы? Как вы думаете?

М. Бубер-Нейман: Нет, не были бы живы.

Ж. Нордманн: Кто освободил Равенсбрюк?

М. Бубер-Нейман: Русские.

Ж. Нордманн: Красная Армия. У меня больше нет вопросов к свидетелю.

Ж. Изар: Эта Армия ее выдала! */Шум в зале./*

Ж. Нордманн: Ее мужа немецкие антифашисты проклинают, потому что он способствовал приходу Гитлера к власти!.. И эта женщина выступает тут против страны, благодаря которой 30000 женщин разных национальностей...

Ж. Изар: Благодаря которой она провела четыре года в Равенсбрюке, мэтр Нордманн, как вам не стыдно!

Ж. Эйсманн: И которая выдала ее гестапо!

А. Блюмель: А французское правительство не выдавало немецких социалистов гестапо?

Ж. Изар: Ничего себе сравнение!

/.../

Председатель суда: В ее показаниях важно одно: она заявляет — правда это или нет, это вы можете обсудить — что Россия выдала ее нацистам.

Ж. Нордманн: Она еще заявила, что Сталин приветствовал приход национал-социализма к власти в Германии. Мы имеем право относиться с подозрением ко всем ее показаниям в целом.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 28 ФЕВРАЛЯ 1949 г.

Из показаний свидетеля ХЬЮЛЕТТА ДЖОНСОНА /настоятель Кентерберийского собора, 74 года/

Джонсон: Прошу вас извинить меня за то, что я не говорю на вашем прекрасном языке.

Я нахожусь здесь в интересах взаимопонимания между народами, в частности, между Востоком и Западом, а также потому, что я считаю, что книга Кравченко не соответствует действительности.

Я изучаю Советский Союз с 1917 года. Я был там до войны и после войны и написал три книги об СССР. Если мои книги верны, книга Кравченко неверна; если книга Кравченко верна, то мои — неверны.

В книге Кравченко имеется описание внешности Сталина, которое меня удивило. Я видел Сталина во время частной беседы, я сидел очень близко от него. Меня поразило достоинство, с которым он держится, правильность черт его лица, и я повторяю, что его портрет в книге Кравченко — это грубая карикатура.

После войны, когда я был в Советском Союзе, я хотел видеть разные области жизни, разные части страны. Мне никогда ни в чем не отказывали. Я видел профессора Капицу, я видел профессора Юдина перед его знаменитой операцией на пищеводе. Я видел различных религиозных деятелей. Я был гостем патриарха Алексия, я получил от него в подарок это великолепное распятие.

А. Блюмель: Не приходилось ли вам, господин настоятель, случайно оказываться в колхозах?

Джонсон: Да, я два раза был в колхозах, причем один раз совершенно случайно. Я летел на самолете из Армении в Москву. Километрах в семистах от Москвы я заметил утечку масла в самолете. Я инженер по образованию и сразу заметил опасность. Пилот пошел на вынужденную посадку. Мы приземлились на территории какого-то колхоза, и я ночевал в доме, где жила вдова с двумя детьми. С помощью переводчика я разговаривал с этими людьми, и то, что они мне говорили, совпадало с тем, что я слышал в других колхозах. Там была девочка 16-ти лет. Мать очень удивилась, когда я спросил, где она работает. Она ответила: "Ей только 16 лет, она еще учится в школе"...

Я описал все, что видел, в моей последней книге "Советская сила". Я говорил в ней о том, как свободно развиваются народы Советского Союза. ...Кто же прав — Кравченко или я?

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 7 МАРТА 1949 г.

Из показаний свидетеля ФРЕДЕРИКА ЖОЛИО КЮРИ /Верховный комиссар по атомной энергии. Профессор в Коллеж де Франс. Член Французской Академии наук и Французской академии медицинских наук. Лауреат Нобелевской премии/.

...Когда читаешь такую книгу, как эта, думаешь: она сделана как будто с намерением добиться определенного результата, а именно — освободить русский народ. Но он освобожден!.... Нет, я считаю, что против таких книг нужно бороться, нужно было написать то, что написано в "Леттр франсез", чтобы пробудить общественное мнение, чтобы всеми силами воспрепятствовать созданию климата, благоприятствующего войне, которой мы все не хотим...

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 22 МАРТА 1949 г.

Из речи ВИКТОРА КРАВЧЕНКО

Господин председатель, господа судьи!

Процесс, который проходил в свободной Франции в атмосфере неослабевающего интереса и внимания со стороны общественного мнения, подходит к концу.

На этом процессе я продемонстрировал документы, представил рукопись книги, приводил факты и цифры; я попытался убедить вас в том, что книгу эту написал я сам и что, кроме того, все, что в ней сказано — чистая правда. Мои свидетели — русские, украинцы, белорусы — рассказали вам горькую правду. Они — рабочие, крестьяне, врачи и инженеры — являются подлинными представителями народов России, они, а не те, что посланы сюда советскими тиранами, наглые неучи, такие же, как и их хозяева.

Эти "свидетели", так же, как и их французские агенты, избегали говорить о том, что составляет тему моей книги, потому что они не могли защищать свой режим, режим Адольфа Сталина — здесь, перед демократическим судом. Потому что им нечего защищать, потому что я сказал правду...

Я не сомневаюсь в том, что мировое общественное мнение уже вынесло свой приговор тем, кто находится здесь на скамье подсудимых, так же, как и их кремлевским вдохновителям.

Теперь, господа, слово за вами.

Вашего приговора ждут сейчас все народы России, миллионы заключенных в Советском Союзе, народы стран, захваченных Кремлем, все народы мира.

Я всегда был убежден в том, что защищаю правое дело. Моим долгом было сказать миру истину. Но мои действия, риск, которому я подвергался, жертвы, принесенные мной, жертвы, принесенные русскими людьми, не найдут морального одобрения, если ваш приговор в отношении подсудимых не будет ясным, четким, суровым и бескомпромиссным.

Для западного мира пришло время посмотреть правде в лицо и увидеть всю опасность современной ситуации. Мир не может быть свободен, пока на шестой части земного шара люди моей страны будут жить под властью диктатуры, под гнетом самой сильной полицейской державы, которую когда-либо знала история.

Господа! Пусть ваше решение поддержит и вдохновит на борьбу всех борцов за свободу и справедливость, пусть оно

сурово накажет душителей свободы, независимости, прогресса.

Из речи КЛОДА МОРГАНА

Господин председатель, господа!

..."Я выбрал свободу" — низкая и грязная поделка... Свидетели истца, которые в течение долгих часов выступали перед этим судом, обвиняли правительство Советского Союза в самых ужасных преступлениях и в самом отвратительном произволе. Так вот, я хочу заявить здесь, хотя это ясно и так: если бы Советский Союз был таким, как он описан в книге, подписанной Кравченко, он внушал бы мне только ужас и отвращение; и не только мне, но и всем коммунистам в мире.

Но эта книга, которую опровергают факты, которую сам мэтр Изар признал односторонней, — эта книга — всего лишь собрание грубейшей клеветы, имеющей хождение вот уже тридцать лет. И если меня охватывали ужас и отвращение, то тогда, когда я слушал свидетелей Кравченко — этих жалких ублюдков, убежавших вслед за немцами, украинских полицаев, военных преступников, которые помогали угнетать свой народ... И я — прошу вас меня за это извинить, господа — не всегда мог сдержать свой гнев.

Господа, я был солдатом во время двух последних войн, я видел, как и вы, страдания нашего народа, и я не хочу, чтобы они повторялись. В той малой мере, которая мне доступна, я сделаю все, чтобы предотвратить третью мировую войну. Именно поэтому я и обличаю Кравченко. Если бы я этого не сделал, я считал бы, что не выполнил свой долг. Теперь, господа, решение за вами.

Из речи АНДРЕ ВЮРМСЕРА

Господин председатель, господа!

...Революция, которая произошла в России, отличается от всех предыдущих революций... И то, что эта революция выжила,— этого ей до сих пор не могут простить.

...Наши противники хотели бы, чтобы суд решил, строит Советский Союз социализм или не строит. Мы не наивные дети и не желаем, чтобы суд поставил хорошую отметку маршалу Сталину. Перед вами просто два человека, которых назвали клеветниками. Их назвал так враль, который своей непродолжительной славой обязан клеветнической книге, которую он написал. Два человека, из которых этот процесс сделал — совершенно независимо от их воли, поверьте мне — рупор того единственного дела, за которое в наше время соглашаются умирать. Мы не заслужили этой чести..., чести представлять здесь перед вами всех оклеветанных, защищать мир, защищать дружбу нашей страны с другой страной, которая всегда подвергалась нападкам, потому что она первая осмелилась предпринять самое небывалое возрождение человека, которое когда-либо за две тысячи лет своей истории видело человечество.

Мы поднимаемся против братоубийственной войны. Нам говорят, что мы делаем это невежливо. Но когда защищаешь жизнь и будущее детей всего мира, то не приходится выбирать слова...

Мы обличаем Кравченко из любви к нашей стране, из любви к миру и доверия к человечеству.

Что человек, клевещущий на Советский Союз, называет клеветниками нас — это трогает нас очень мало. Мы уверены, что французское правосудие сумеет сказать, кто хотел принести вред, а кто — просто имел смелость защищать свои убеждения, кто тут клеветник и кто - оклеветанный.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 АПРЕЛЯ 1949 г.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ № 1

Суд,

Принимая во внимание, что господин Кравченко привлек к суду господ Сима Томаса и Леконта /псевдоним: Клод Морган/ и предъявил им обвинение в нанесенных ему, Кравченко, публичных оскорблениях и в клевете по его адресу, что нашло свое выражение в статье, опубликованной в газете "Леттр франсез" от 13 ноября 1947 года под названием "Как был сфабрикован Кравченко"...

Принимая во внимание, что Кравченко, считая, что клеветнический характер инкриминируемого текста наносит ущерб его чести и достоинству, требует уплаты ему суммы в три миллиона франков в качестве возмещения вреда, а также опубликования решения суда в газете "Леттр франсез"...

Принимая во внимание, что по вопросу о Симе Томасе суд принял отдельное решение 8 ноября 1948 года;

Принимая во внимание, что приведенные в статье факты носят явно клеветнический характер, что они ни в какой степени не являются доказанными и что Морган даже и не стремился их доказать; что из инкриминируемого текста явно следует желание его автора причинить вред;

Принимая во внимание, однако, что при определении наказания следует учитывать роль, которую сыграл обвиняемый Морган, страстный полемист и известный участник Сопротивления, в тот период, когда Кравченко счел нужным покинуть свою родину и опубликовать свое заявление в газете "Нью-Йорк таймс",

Постановил:

Считать Леконта /Моргана/ виновным в диффамации и публичных оскорблениях; приговорить его к штрафу в сумме 50000 франков, которую он должен выплатить Кравченко в качестве возмещения вреда, а также к опубликованию настоящего решения на первой странице газеты.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ №2

Суд,

Принимая во внимание, что господин Кравченко привлек к суду господ Леконта /Моргана/ и Вюрмсера, и предъявил им обвинение в публичных оскорблениях и клевете, содержащихся й статье "Господин Кравченко — вундеркинд", опубликованной в "Леттр франсез" от 15 апреля 1948 года;

Принимая во внимание, что Кравченко особенно подчеркивает следующее место в статье:

> **"...Я уже говорил, что если Кравченко не лжет, то он — существо отвратительное. Вот он уезжает в заграничную командировку.**
>
> **Он приводит такой диалог:**
>
> **— Товарищ Кравченко, ты должен оправдать доверие партии.**
>
> **— Постараюсь, товарищ Лебедев, — сказал я тоном скромным, но убежденным.**
>
> **— Были ли у тебя хоть самые малейшие сомнения в мудрости партии?**

— Никогда, — немедленно ответил я, и ограничился этим ответом, так как не в моих интересах было уточнять мою мысль* /сравните эту трусость с поведением стольких русских патриотов, замученных немцами, стольких французских участников Сопротивления перед лицом палачей/";

Принимая во внимание, что Кравченко, считая, что вышеуказанная статья носит клеветнический характер, требует от обвиняемых уплаты ему штрафа в виде возмещения вреда в сумме четырех миллионов франков, а также опубликования решения суда в газете "Леттр фраисез";

Принимая во внимание, что отрывок из книги "Я выбрал свободу", в котором Кравченко рассказывает об условиях, в которых он /скрыв свои подлинные мысли и обманув таким образом доверие своего правительства/ обманом получил командировку за границу, что этот отрывок, по словам Кравченко, полностью соответствует истине и что, таким образом, он сам хвалится тем, что обманул своих начальников как по служебной линии, так и по партийной;

Принимая во внимание, что обвиняемые имели поэтому все основания осуждать его; но, принимая во внимание, что, употребив термин "отвратительное существо", они перешли допустимые границы критики и грубо оскорбили его не столько с целью установить истину, сколько с целью причинить вред...

Принимая во внимание, что Морган и Вюрмсер назвали Кравченко изменником за то, что он покинул свой пост и опубликовал известное заявление в "Нью-Йорк Таймс";

Принимая во внимание, что Кравченко являлся членом коммунистической партии СССР с 1929 года; что он вступил в нее, как он сам говорит, с целью помочь проведению задуманных его правительством реформ; что впоследствии его политические взгляды изменились, что он потерял веру в коммунистические идеалы, возненавидел существующий в стране режим и задумал уехать за границу; но что он продолжал, по его собственным словам, оставаться членом партии и лояльно служить ей вплоть до того дня, когда получил возможность выехать;

Принимая во внимание, что заявление в "Нью-Йорк таймс" следует проанализировать в целом, для того, чтобы установить подлинные намерения автора; что было произволом извлечь оттуда, как это сделала немецкая пропаганда со свойственной ей нечестностью, некоторые отрывки, в которых Кравченко счел нужным изложить, как он себе представляет планы руководителей Советского Союза...

Принимая во внимание, что наряду с уже упоминавшимися нападками, безусловно, несвоевременными и вредными в период войны, текст Кравченко содержит утверждения о том, что он "выше всего ставит интересы военных усилий союзников";

* Выделено в тексте статьи в газете "Леттр франсез".

Принимая во внимание поэтому, что Морган и Вюрмсер не имели оснований употреблять по отношению к Кравченко термин "изменник", даже если имели основания сурово осуждать его;

Принимая во внимание, кроме того, что ответчики обвиняли Кравченко во лжи в его описаниях событий, имевших место в СССР после Октябрьской революции;

Принимая во внимание, что Кравченко описывает ужасные сцены, при которых он присутствовал, а также тяжесть положения русского народа в период между двумя войнами, и гневно обрушивается на правительство, которое, по его словам, отвечает за эти зверства;

Принимая во внимание, что некоторые свидетели подтверждают заявления Кравченко, но что другие их отрицают или считают их чрезвычайно преувеличенными;

Принимая во внимание, что только многочисленные обследования, проведенные на месте и дополненные критическим изучением архивов и других документов могли бы позволить сформулировать обоснованное заключение по столь обширному вопросу;

что в настоящее время суд может только констатировать наличие вопиющих противоречий между показаниями свидетелей и невозможность принять утверждения одних и отвергнуть утверждения других;

Принимая во внимание, что в тексте книги имеется ряд неточностей и что по временам она носит характер настоящего памфлета;

Принимая, тем не менее, во внимание, что лживость самих фактов, о которых рассказывает Кравченко, не была доказана на процессе;

что Морган и Вюрмсер не смогли доказать лживость книги Кравченко;

Принимая во внимание, однако, что при определении меры наказания следует учитывать роль, которую сыграли ответчики, страстные полемисты, известные участники Сопротивления и патриоты, в тот период, когда Кравченко покинул свою родину... и что поэтому в применении к ним санкций следует проявить умеренность;

Постановил:

Считать Леконта /Моргана/ и Вюрмсера виновными в диффамации и публичном нанесении оскорблений... Приговорить каждого их них к уплате 50000 франков в виде возмещения вреда и к опубликованию решения суда;

Определить, что в отношении Моргана этот штраф сливается со штрафом, указанным в судебном решении № 1; общая сумма составляет, таким образом, 50000 франков.

СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ № 3

Суд,

Принимая во внимание, что Кравченко привлек к суду господина Моргана и предъявил ему обвинение в клевете, содержащееся в его статьях, опубликованных в газете "Леттр франсез" от 1 апреля, 22 апреля и 29 апреля 1948 года,...

Принимая во внимание, что факт диффамации, инкриминированный Моргану, полностью установлен...

Постановил:

Приговорить Леконта /Моргана/ к уплате штрафа в сумее 50000 франков.

Опубликовать данное решение суда в газете "Леттр франсез".

От редакции:

Газета "Леттр франсез" обжаловала решение суда. Кассационный суд, рассматривавший дело в отсутствие Кравченко в декабре 1949 — марте 1950 года, отменил решение предыдущей инстанции и приговорил газету к уплате символического штрафа в 3 франка.

ПРОЗРЕНИЕ

Послесловие к публикации

Тридцать лет назад многие на Западе верили, что в Советском Союзе — социализм. За эту свою веру они цеплялись — ведь со всякой верой расставаться мучительно трудно. Всегда хочется найти внутреннее оправдание для своего Бога, как бы он ни опозорил себя. Если СССР — страна не социалистическая, если /страшно подумать!/ между советским "социал-социализмом" и немецким национал-социализмом различие только внешнее, всего лишь обманчиво-терминологическое, то — к чему жить? Ради чего были принесены жертвы? Во имя чего погибли парижские коммунары и Жан Жорес? Во имя чего пали социалисты и коммунисты — герои Сопротивления?

Сегодня эти возгласы отчаяния смехотворны для всех — не только для социалистов. Прежде считалось, что на подобную клевету способны только правые, теперь отрицание социалистической природы СССР стало общим местом для всех левых — кроме, разумеется, тупиц-догматиков, которые ничему не научились и ничего не поняли /они

есть и во Франции — такова Жаннета Вермерш-Торез, вдова прежнего лидера французских коммунистов; Торез, как известно, предшественник Жоржа Марше, который мало чем отличается от Торезовой вдовы, ныне ставшей всеобщим посмешищем/.

Многие из тех, кто тридцать лет назад выступал на суде с твердокаменных коммунистических позиций и с неуклонной защитой СССР от клеветы, нашли в себе мужество сказать вслух о своей слепоте. Даже главный ответчик на процессе Кравченко, директор газеты "Леттр франсез" Клод Морган выпустил в 1979 году мемуары, где признался, что никакого Сима Томаса на свете не было, а статью против Кравченко написал Андрэ Ульман, да и согласился Морган с тем, что в 1949 году защищал он неправое дело.

Другой руководитель "Леттр франсез", Пьер Дэкс, написал предисловие к новому изданию книги Кравченко /1980/. Факт феноменальный: Пьер Дэкс, в ту пору редактор коммунистического еженедельника, напавшего на Кравченко и обвинившего его во лжи и мошенничестве, сегодня сам содействует появлению книги "Я выбрал свободу". Так вот что произошло за эти тридцать лет: на пепелище той КПФ все меньше людей мыслящих и совестливых.

Эволюция Пьера Дэкса, бывшего члена ЦК КПФ, бывшего сотрудника Тореза и Арагона, бывшего руководителя "Леттр франсез" — настолько ошеломительный симптом переживаемой нами эпохи, что я хочу предоставить ему самому слово — привести несколько цитат из предисловия П. Дэкса к книге Кравченко "Я выбрал свободу"/1980/, предисловия, которое озаглавлено: "Обман и психоз". Пьер Дэкс пытается объяснить, как обман оказался возможен — и не только обман Клода Моргана Андрэ Ульманом или Андрэ Ульмана каким-то московским агентом — нет, вообще, обман Запада Советским Союзом, обман нормально мыслящих людей — коммунистами. Обман, с его точки зрения, объясняется гипнозом, имевшим во Франции особую силу.

"...Русская революция выдавала себя за наследницу 1789 года, ее завершающий этап в Октябре — за осуществление того штурма небес, который предприняла Парижская Коммуна... СССР рожден идеями французского рабочего движения, он — детище левого фронта. Можно ли отвергнуть собственного сына даже тогда, когда он поступает дурно? Надо сохранять терпение, надо понять и простить. Путь в будущее только один — другого нет."

Дэкс рассказывает, как французы стали постепенно освобождаться от этого наваждения: в 1936 году появилась книга Андрэ Жида "Возвращение из СССР", потом репортаж шахтера Клебера Легэ о подлинных условиях труда в "стране диктатуры пролетариата", потом, в августе 1939 года, всех ошеломил пакт с гитлеровской Германией и совместная с нею оккупация Польши, потом война против Финляндии.

Наваждение мало-помалу рассеивалось — до... 22 июня 1941 года, когда все мгновенно повернулось в другую сторону:

"...И это с тем большей силой, что мы начали сомневаться в соответствии Советского Союза нашему идеалу. Чувство вины, которое мы испытывали, раскаиваясь в своих сомнениях, превращало пакт с Гитлером в гениальную военную хитрость, московские процессы — в расправу с пятой колонной /а ведь у нас она способствовала поражению 1940 года/, "чистки" 1937 года — в практическое осуществление революционно-патриотической деятельности. "Нет, больше нас не проведут!" Всех захватывает чувство благодарности к Советскому Союзу и жертвам, которые принесли его народы и которые несопоставимы с нашими, к гению Сталина... В 1980 году можно оценить, в какой степени информация, которую сообщал Кравченко о Советском Союзе, была правдивой и полной. Однако в 1947—1948 годах эту информацию усвоить было попросту нельзя, и не только в силу гипнотического влияния "СССР — родины социализма", но и потому, что победа 1945 года, казалось бы, воочию обнаружила единство народов СССР и партии, ими управлявшей, а Западу доказала и то, что там, в Советском Союзе, справедливость, демократия, даже свобода, что экономика там функционирует бесперебойно..."

На суде выступали против Кравченко физик Фредерик Жолио-Кюри и писатель Веркор. Только ли потому, что они, подчиняясь требованиям коммунистического ЦК, считали, что т а к н у ж н о? Да, разумеется, поэтому тоже, и такая полная подчиненность "идеям вождя" — страшна. А еще и потому, о чем с такой горькой убедительностью пишет тридцать лет спустя Пьер Дэкс, что считалось так: "СССР — родина социализма", там народ и партия едины, там — впервые в истории человечества власть в руках трудящихся! И эта нация, нация рабочих и крестьян, одолела фашизм и спасла от него весь мир. Чем глубже был гипнотический сон, чем наваждение было длительнее, чем вера была искреннее и трепетнее, тем горше оказалось прозрение. Оно наступило почти внезапно — в 1956 году. И к а к ни пытались ветераны ФКП остановить его, оно оказалось неодолимым.

Опять предоставляю слово Пьеру Дэксу: "В 1947 году не было на Западе ни одного показания, которое можно было бы сопоставить со свидетельством Кравченко. Теперь мы в состоянии сравнить его книгу с тем, что пишут советские люди для самиздата, минуя государственную цензуру. И эта книга органически вписывается во все то, что нам известно из воспоминаний Надежды Мандельштам или Льва Копелева, спутника Солженицына по "Кругу первому", или из "Крутого маршрута" Евгении Гинзбург, или из автобиографии генерала Григоренко. Кравченко познал одиночество предшественников. Наконец-то сегодня его книга услышана. Наконец-то он поддержан и многократно усилен всей литературой свободы, которая сокрушила стены советской государственной лжи. Для Кравченко эта победа пришла слишком поздно. Он и в этом разделил общую судьбу. Только теперь, в наши дни, Виктора Сержа начинают ставить на подобающее ему место, к а к и книгу Бориса Суварина "Сталин", написанную в 1935 году — теперь она переиздана, и на ней нет ни единой морщины".

Суждения Пьера Дэкса о Кравченко — это и анализ и покаяние. За тридцать лет произошли огромные сдвиги в сознании людей. Эти сдвиги необратимы. Сколько бы советская геронтократия ни пыталась изображать устойчивость партии, неизменность лозунгов, незыблемость веры в прежние идеалы — все это уже не имеет ни веса, ни ценности даже для самых наивных кругов западной интеллигенции. Теперь для всех /или почти для всех/ ясно, что СССР — страна идеологических макетов и что подлинно в этой стране только страшилище армии.

Книга "Я выбрал свободу", изданная в "Нью-Йорке", разошлась в трех миллионах экземпляров и была переведена на двадцать два языка. Кравченко? Кравченко разбогател. После процесса 1949 года он написал и выпустил другую книгу — "Я выбрал правосудие", но уже никто не обратил на нее внимания: автор был отыгранной картой, он больше не представлял интереса ни для властей, ни для публики. Лишь советские тайные агенты продолжали за ним охотиться. Ему пришлось изменить имя на Питера Мэртина и даже трансформировать внешность. Поселившись в Нью-Йорке, он находился под постоянной и бдительной охраной.

Французский переводчик и издатель Кравченко Жан де Карделанд рассказывает о его последних годах: "В богатом доме, на 69-й стрит, близ 5-й авеню, никто, казалось бы, не знал этого Мэртина, который никогда не спускался со своего второго этажа; ни один посетитель, шагая мимо квартиры, кажется, не замечал неподвижно дежурившего богатыря-охранника... Все же через несколько недель, к а к новый жилец сюда въехал, два вооруженных человека попытались ворваться в квартиру. Кравченко, который был постоянно начеку, тотчас открыл огонь по "агрессорам" и одного из них опасно ранил. В то время полиция поспешила заглушить дело и не стала открывать настоящее имя Питера Мэртина. С тех лор обладатель квартиры, о котором говорили, что он никогда не выходит, вообще перестал появляться на людях. Материальной нужды он не испытывал: его книга /та самая, новая, и, в сущности, единственная/ продолжала приносить немалый доход, и он проводил нескончаемые дни в горьких раздумьях, среди слишком пышной, раззолоченной мебели, рассматривая прекрасные полотна, которые он развесил по стенам, и слушая симфоническую музыку...

Из нескольких редких признаний, которые он сделал в ту пору,

известно, что столь внешне "буржуазные" последние годы были для этого несчастного человека непереносимой пыткой...

...Вечером 24 февраля 1966 года автор книги "Я выбрал свободу" избавился от нежелательного свидетеля, послав его за сигаретами, поспешно настучал на машинке записку для полиции и, подписав эту бумажку /ее так и не предали огласке/ двойным именем "Питер Мэртин — Виктор Кравченко", он вложил ее в книгу "Я выбрал свободу". Затем выстрелил себе в голову".

Так погиб почти пятнадцать лет назад Виктор Кравченко — человек, осмелившийся впервые во весь голос сказать о том, о чем сегодня воробьи чирикают на всех крышах. Теперь иногда объясняют его самоубийство подавленностью, вызванной войной во Вьетнаме. Едва ли. Скорее всего, гибель Кравченко была вызвана его глубоким разочарованием: он сказал все, что мог, его свидетельство должно было потрясти Запад, заставить его прозреть и остановить самоубийственную политику уступок и самоустранений... Запад прочел и, прочитав, продолжал спокойно заниматься своими делами, по-прежнему снабжая Советский Союз компьютерами, пшеницей, наручниками и электронной аппаратурой для подслушивания. Кравченко же оказался во власти неотступно преследовавших его тайных агентов КГБ, к тому же и обесчещенным многолетней грязной клеветой. Что написал он в своей предсмертной записке? Когда-нибудь мы это узнаем. Но давно пора русским читателям узнать книгу и судьбу человека, которого теперь французские журналисты не без основания называют Первым диссидентом.

Ефим ЭТКИНД

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

В редколлегию журнала "Время и мы" вошел писатель и публицист, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1981 год

Планы журнала и условия подписки

В 1981 году редакция планирует публикацию лучших произведений самиздата и наиболее талантливых писателей всех трех эмиграций. В ближайших номерах журнала предполагается опубликовать повести и рассказы: "Пропавшие письма" Милана Кундеры, "Операция "Соломон" Александра Тучкова, отрывок из романа Феликса Розинера "Некто Финкельмайер", прозу Виктора Некрасова, Фридриха Горенштейна, Аркадия Львова и других. Мы напечатаем статьи и эссе "Два лика Лаврентия Берии" Фаины Баазовой, "Темная тень над светлым будущим" Л. Тыкоцкого /об экономическом кризисе в СССР/, "Алия в зеркале социологии" Вольфганга Зеева Рубинзона /о кризисе еврейской эмиграции в Израиль/, "Парадоксы развития" Георгия Бена /о современной американской поэзии/. Предполагается опубликовать цикл статей и эссе на тему "Израиль в современном мире". Будет введен раздел науки, в котором редакция опубликует, в частности, эссе Артура Кестлера "Парапсихология в свете новейших открытий физики". На страницах журнала выступят Дора Штурман, Лев Наврозов, Ефим Эткинд, Лев Копелев и другие.

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ'.

Стоимость годовой подписки — 39 долларов, с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по временному адресу главной редакции: USA, 594 Chestnut Ridge, Road Orange, Conn. 06477, или путем перечисления на счет редакции: Bank of commerce New York, 56 East, 42 nd str. New York, 10007, "Time end We" Inc. Acc. 40 13681 7.

Стоимость подписки в Израиле 260 шкалим, с целью экономической поддержки журнала — 280 шкалим. Заказы и чеки высылать на адрес израильского отделения журнала "Время и мы": Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 /зав. отделением Дора Штурман-Тиктина/.

Стоимость подписки во Франции 200 Ф.Фр., с целью экономической поддержки журнала — 220 Ф. Фр. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США /или путем перечисления на ее счет в Нью-Йорке/, а также во французском отделении журнала "Время и мы".

Стоимость подписки в Германии — 89 нем. марок, с целью экономической поддержки журнала — 110 нем. марок. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США /или путем перечисления на ее счет в Нью-Йорке/ а также у представителя журнала в Германии.

Во всех других странах подписка осуществляется по адресу главной редакции или путем перечисления на ее счет в Нью-Йорке, а также у представителей редакции.

ИСКУССТВО АЛЕКСАНДРА АРЕФЬЕВА

Три с лишним года тому назад, ледяным ленинградским утром 23 февраля, в уже обжитом многочисленными расставаниями международном секторе аэропорта "Пулково" мы что-то кричали ему через таможенный барьер, смеялись, махали руками. А лотом исчезли пассажиры, мелькнули еще на секунду у аэрофлотского автобуса, и самолет улетел. И мы, упакованные в клубы пара, ехали в 39-м автобусе, а может, в такси, не помню, и везли водку, которую таможенники не разрешили увезти Саше Арефьеву, а потом сидели за столом, и наверняка кто-то сказал дежурное: "Как на поминках сидим". Никто из нас, вечером того же 23 февраля сидевших за той, "не пропущенной", водкой, Сашу больше не видел, а ему, в тот момент впервые в жизни вступившему на землю Европы, жить оставалось еще год и семьдесят дней.

Сколько картин, сколько рисунков осталось после его смерти? Наверное, никто не знает. Их было великое множество. Он продавал их за гроши, когда их начали покупать, и всю жизнь дарил друзьям или просто нравившимся ему людям. Они рассеяны по разным странам, картины и рисунки Александра Арефьева, художника, нет которому равных, как нет равных каждому большому художнику.

Его творчество — это эпоха в советском искусстве, значение которой, может быть оценено в полной мере, когда сотни его,картин будут выставлены на первой персональной, увы, посмертной выставке. Он единственный смог сделать советскую жизнь — всю, с коммунальными квартирами, красными флагами, лагерями, лозунгами, скандалами, торжествами, драками, демонстрациями, сортирами, — высоким и прекрасным явлением изобразительного искусства. Смесь Данте и журнала "Крокодил", непостижимое варево трагедии и фарса, — его Советский Союз — это не страна, это огромный, гигантский пригород со всеми, именно пригороду присущими, глухим хамством, тупой жестокостью и убогой нежностью. Исчезни все свидетельства о жизни советского общества конца 40-х — начала 70-х годов, все равно мы будем знать о нем все, если только сохранятся работы Арефьева.

Однако творчество его не есть некий социологический анализ изобразительными средствами, хотя работы его, конечно, глубоко социальны. Серии его рисунков, картины— это шедевры ритма, линии, мощно звучащего цвета. В русском искусстве не было такого художника, как Арефьев.

Его творческий путь начался в конце 40-х годов. Притом, работами такой силы, что с трудом верилось, что их автор — юный ученик средней художественной школы при Ленинградской Академии художеств. Серия, посвященная войне, свидетелем которой он был,— это лучшее, что бьшо сделано в СССР на эту тему. А потом — лагерная серия. И тоже из "первых рук" — дважды попадал Арефьев в лагеря. Серии "Скандалы", "Поэт и муза", "Вынос покойника" "Античная" и много много других.

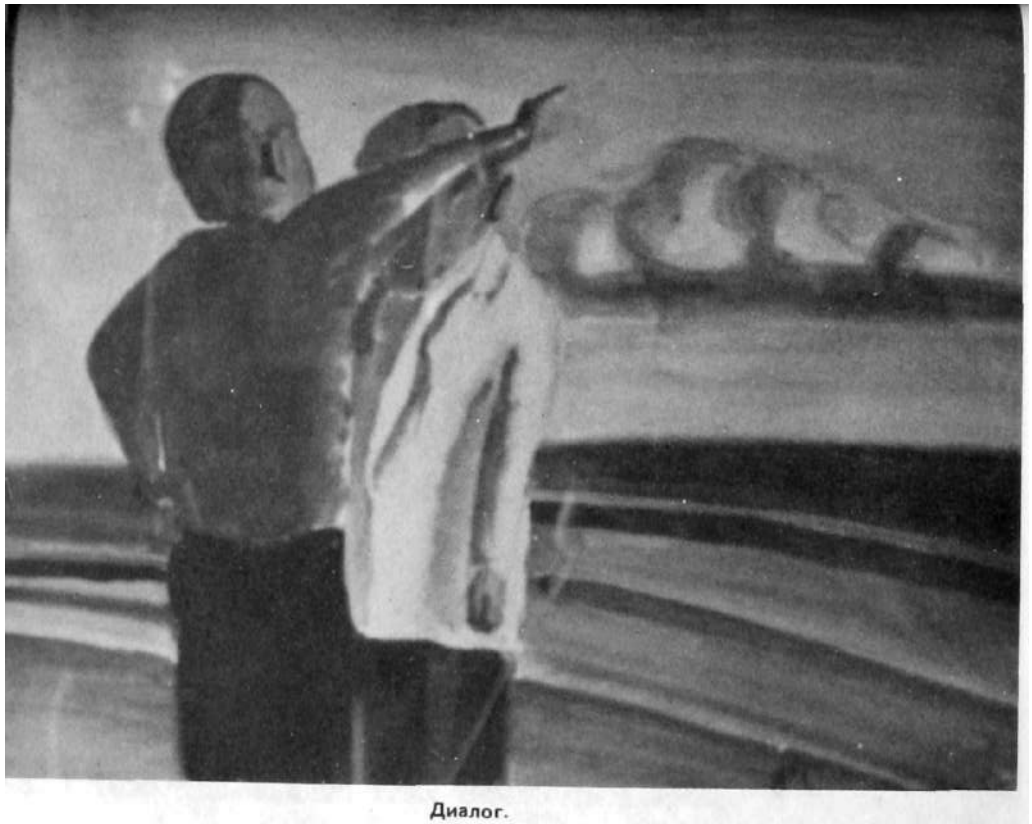
Нельзя сказать, что власти пылали любовью к неофициальным художникам, но Арефьева они ненавидели. Лагеря, пятнадцать суток, проведенные в тюрьме Большого дома, постоянные вторжения милиции в его квартиру: отношения Арефьев — советская власть были обозначены достаточно ясно. Да, впрочем, нужно ли говорить обо всем этом? Печальный список художников, задушенных в "славные годы" — достаточно длинен.

Уже два года прошли после смерти Арефьева. Акции Арефьева на черном рынке Советской власти /комиссия Государственного Русского музея по оценке работ, вывозимых за рубеж/ возросли многократно. "Это же Арефьев" — важно объясняет искусствоведческое рыло. Друзьям Арефьева, прекрасным художникам Р. Васми и Ш. Шварцу, разумеется, подобного отзыва не услышать — ведь они еще живы. Уже работы, купленные за гроши, перепродаются совсем по иным ценам. И, может быть, уже утихла грязная возня вокруг оставшихся в Советском Союзе работ, как отшумел такой же грязный балаган вокруг его похорон.

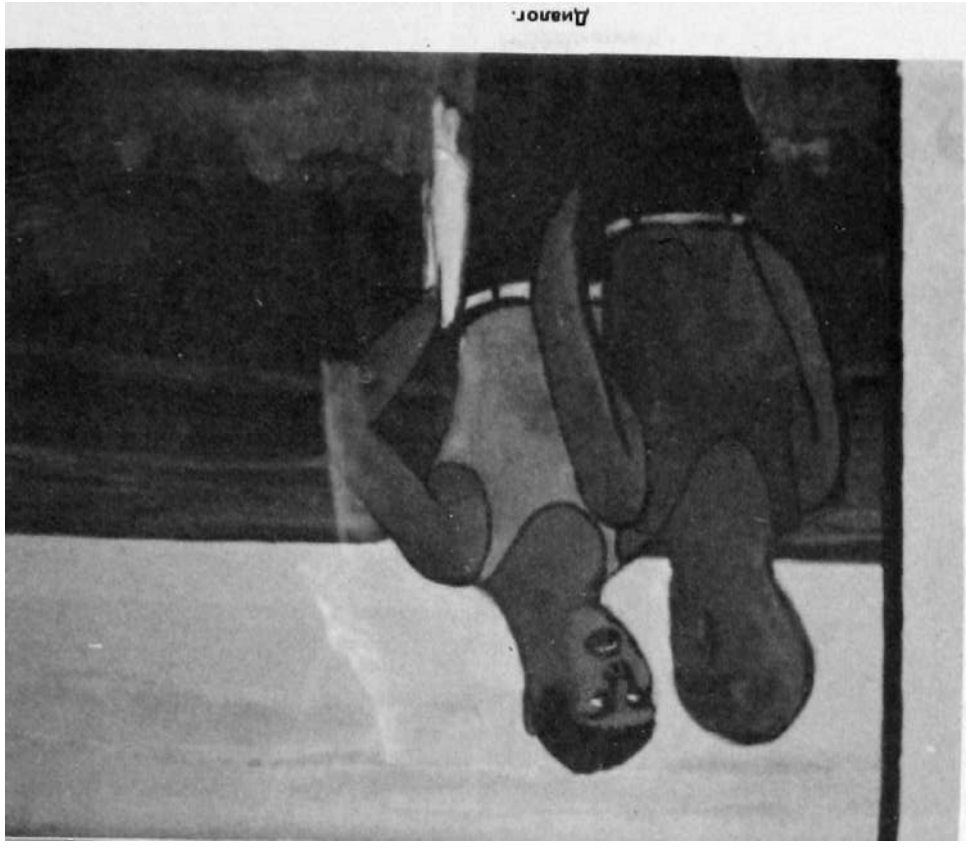
Остались работы прекрасного большого русского художника и придет время — будут они висеть в музеях и будут писать статьи искусствоведы, и выходить будут книги с репродукциями А. Арефьева. Ведь время всегда, рано или поздно, приходит, только обидно, что, как правило, почему-то поздно...

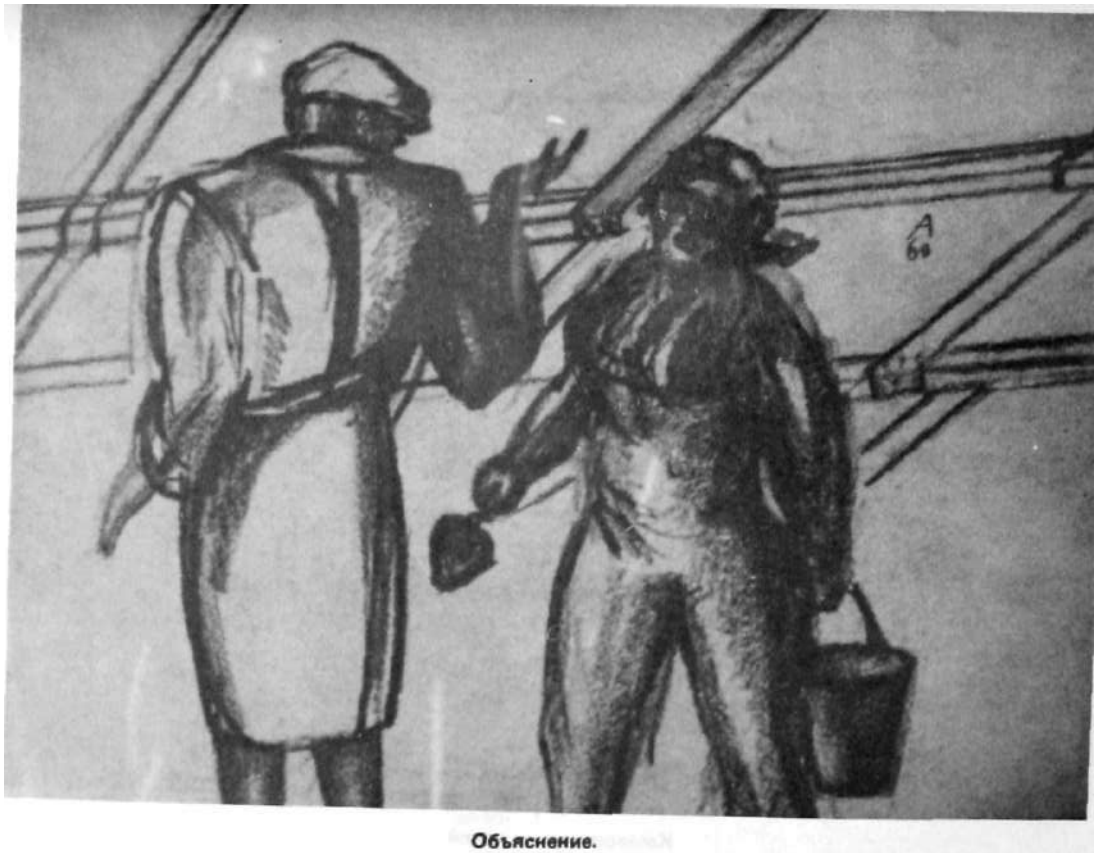
Александр ПЕРЧ

Канатоходцы.

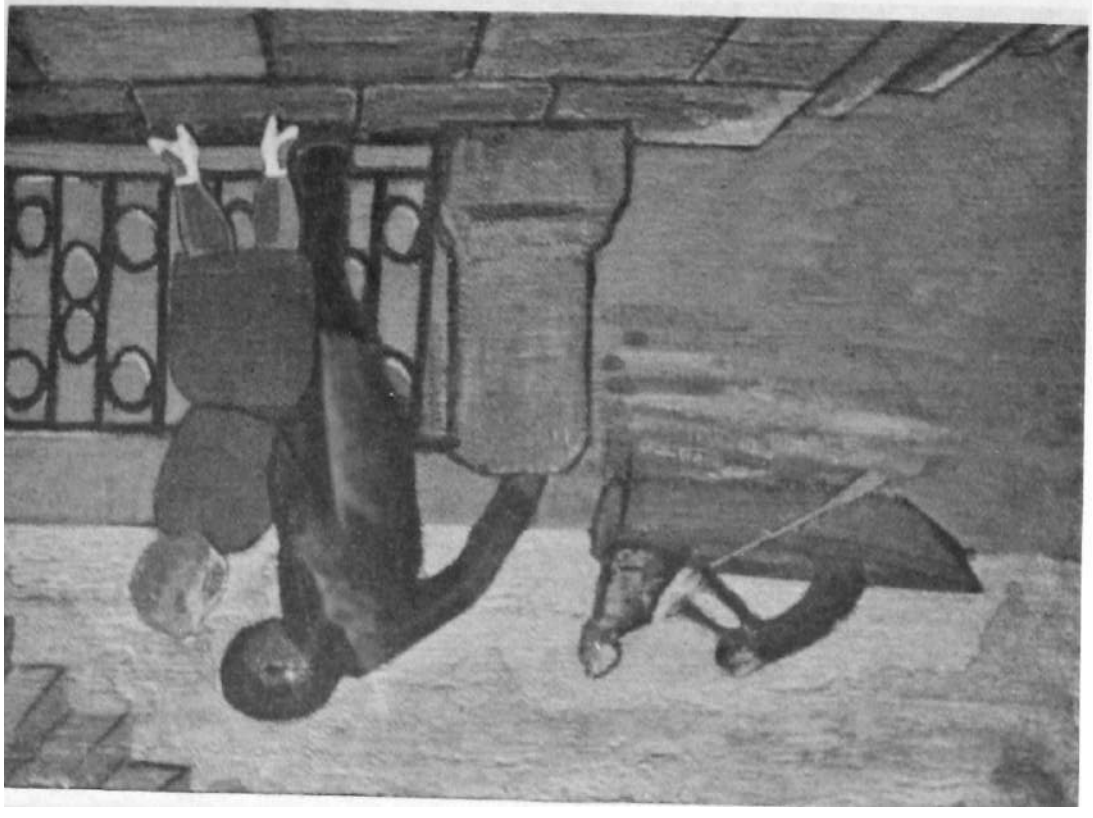


Диалог.

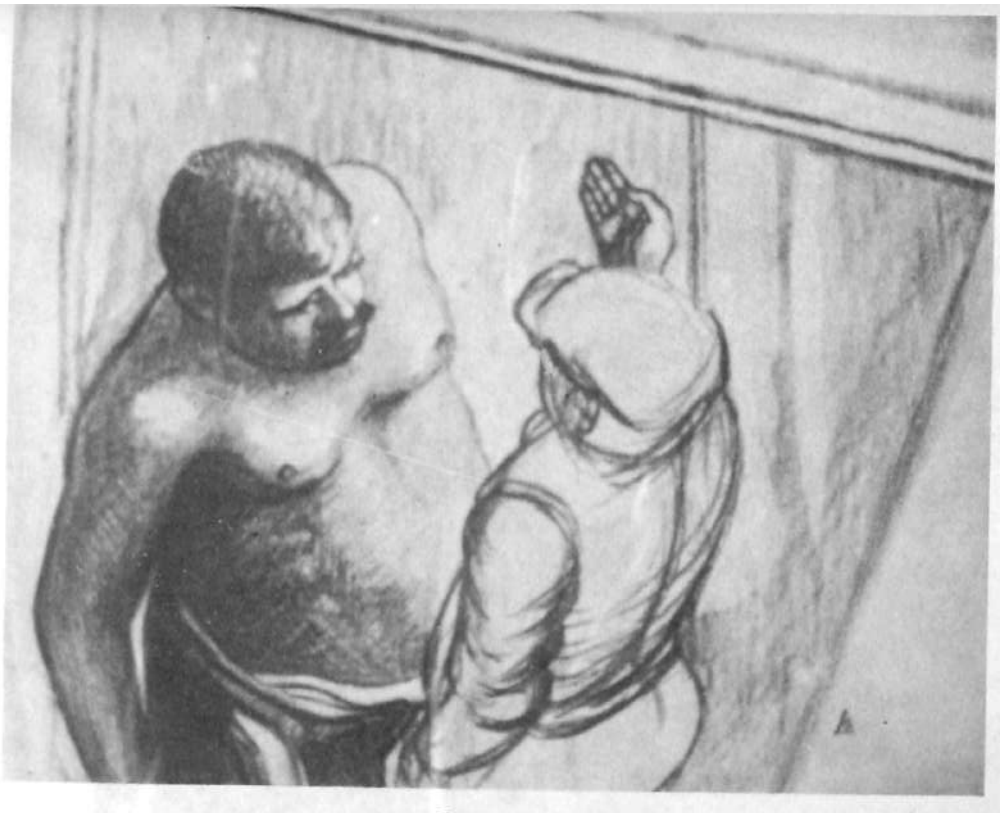




Объяснение.



Композиция с лодкой.



Диалог.

Скандал.

Борец.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Аркадий ЛЬВОВ. См. журнал № 57.

Руфь ЗЕРНОВА. Родилась в 1919 году. Школу окончила в Одессе. Училась иа филфаке Ленинградского университета, потом была переводчицей в Испании /в последний период гражданской войны/, потом работала. В 1947 году окончила тот же Ленинградский университет. В 1949 году была арестована, осуждена по статье 58—10 на десять лет. В 1954 году была освобождена /подведена под амнистию/, потом реабилитирована. В СССР издала несколько книг, в том числе "Скорпионовы ягоды", "Солнечная сторона", "Немые звонки". Исключена из Союза писателей в связи с эмиграцией в Израиль. С 1976 года живет в Иерусалиме.

Леонид ИОФФЕ. Родился в 1943 году. Жил в Москве. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. С конца 1972 года живет в Иерусалиме. В 1977 году вышли два сборника его стихотворений — "Косые падежи" и "Путь зари", относящиеся к московскому периоду. В 1980 году вышел его новый сборник "Третий город" со стихами иерусалимского периода 1973—1979 годов.

Илья БОКШТЕЙН. Поэт. Родился в 1937 году в Москве. Учился в Институте культуры. В августе 1961 года был арестован за публичные выступления на площади Маяковского. Отбыл в лагере пятилетний срок. В Израиль приехал в феврале 1972 года. В Советском Союзе Илья Бокштейн не публиковался, а в Израиле его стихи печатались в журналах "Сион", "Время и мы" и др.

Анатолий ФЕДОСЕЕВ. Родился в Петербурге 14 июня 1910 года. В 1936 году окончил Ленинградский электротехнический институт и занимался научной работой /в Ленинграде, Новосибирске, Москве/. С 1943 года работал главным конструктором и научным руководителем двух десятков работ по электронной военной технике /генераторные и модулярные лампы и особенно генераторные и усилительные магнетроны/. Долгие годы он был начальником НИИЭТ, а затем — НИИЭП. Он — доктор технических наук, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и двух орденов Ленина, лауреат Ленинской премии /присуждена за разработку сверхмощных магнетронов/, заслуженный деятель науки и техники и — с апреля 1971 г. — Герой Социалистического Труда. В мае 1971 г. А. Федосеев воспользовался пребываеиием на международной выставке в Париже, чтобы остаться на Западе. Теперь он живет в Англии, где и продолжает свою научную деятельность. Автор книг "Западня", "О новой России" и др., а также многих публицистических статей.

Вольфганг /Зеев/ РУБИНЗОН. Родился в Берлине 22 января 1932 года. Эмигрировал в Харбин в 1939 году. Не был допущен советскими властями к экзамену на аттестат зрелости "как не имеющий подданства". Приехав в Израиль, вступил в киббуц "Мишмар Гаэмек". Работал чернорабочим, шофером грузовика, трактористом. Только в 26 лет сдал экзамен на аттестат зрелости. Окончил Иерусалимский университет и получил звание бакалавра по еврейской и всеобщей истории, затем — магистра по классической истории и филологии. Автор многочисленных работ по социально-экономической истории античного мира. С 1966 года преподает всеобщую историю в Тель-Авивском университете. Преподавал древнюю историю в Берлинском Свободном университете. В соавторстве с профессором Цви Явицем написал книгу "Восстание рабов древнего мира".

Исраэль ШАМИР. Родился в 1947 году в Новосибирске. Занимался в университете на юридическом и математическом факультетах. В 1969 году приехал в Израиль. За последние годы объездил Вьетнам, Конго, Японию, Непал, Исландию и другие страны. Публиковался во многих израильских и зарубежных изданиях. В настоящее время живет в Иерусалиме.

Александр АБРАМОВ. Музыковед и журналист. Окончил теоретическое отделение музыкального училища и философский факультет Ленинградского университета. Эмигрировал в Соединенные Штаты Америке, где и живет в настоящее время.

ХОТИТЕ ИЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ Я РОМАН?

Поэму? Пьесу? Исследование? Мемуары?

В новой фирме „ЭРМИТАЖ" это обойдется вам не дороже 15 долларов за страницу (1800 печ. знаков).

И не позже чем через 4 месяца вы получите на дом ящики с полным тиражом ваших книг (500 экземпляров? 1000?) плюс список адресов 30 крупнейших магазинов, торгующих русскими книгами во всем мире, куда вы сможете рассылать свое издание для продажи по любой цене, какую сами найдете справедлияой и приемлемой.

Обращаться: HERMITAGE 2269 Shadowood Dr.. Ann Arbor MI 48104 USA. Tel. (313) 971-2968.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК

Издательство MAX HUEBER VERLAG для студентов и учащихся, изучающих русский язык, активно владеющих основами русской грамматики и имеющих определенный словарный запас, выпустило следующие пособия:

1. *Зоя Кестер, Елена Ром* СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК. ТЕКСТЫ И УПРАЖНЕНИЯ.

Пособие состоит из 14 уроков.

В качестве материала использованы неадаптированные юмористические и сатирические тексты из "Литературной газеты", журналов "Юность", "Крокодил".

В пояснениях к текстам объяснены слова и словосочетания, относящиеся к разговорной или просторечной лексике, а также слова и словосочетания, являющиеся специфическими для жизни в современной России.

В каждом из 14 уроков объяснена одна из лексических тем /многозначность слов, омонимы, синонимы, антонимы и т. д./ и даны упражнения на эту тему, правильность выполнения которых может быть проверена по "Ключу к упражнению".

Объем 224 стр., цена 32 нем. марки /заказы присылать под №4441/.

2.ЧЕТЫРЕ КНИГИ ИЗ СЕРИИ "СОВРЕМЕННЫЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ" /ТЕКСТЫ И УПРАЖНЕНИЯ/. ВАСИЛИЙ ШУКШИН, НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ, ВАЛЕНТИН РАСПУТИН, ВИКТОР АСТАФЬЕВ.

К текстам даны пояснения слов и словосочетаний, относящихся к разговорной или просторечной лексике, многие из которых еще не вошли в словари или имеют другое толкование. *Составители Зоя Кестер , Елена Ром.*

Цена каждой книги— 15,3 нем. марок.

Заказы под №№ 4442, 4443, 4444, 4445 направлять по адресу: MAX HUEBER VERLAG. KRAUS str. 30, 8045 ISMAHING, MUNHEN, WEST GERMANY.

Я ПОКАЗАЛ ЙОХЕ НАГЕЛЬ, СОТРУДНИЦЕ БАНКА, В КОТОРОМ У МЕНЯ ОТКРЫТ СЧЕТ, "ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", ПОЛУЧЕННОЕ МНОЙ ОТ "ХЕВРАТ ХАШМАЛ". ОНА ПОСОВЕТОВАЛА МНЕ ДАТЬ ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ БАНКУ НА ОПЛАТУ СЧЕТОВ ЗА ТЕЛЕФОН И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Я ПОСЛЕДОВАЛ ЕЕ СОВЕТУ, И У МЕНЯ НЕТ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТОЙ СЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕЛЕФОН.

בנק לאומי הבנק שלי.

בנק לאומי

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Главная редакция журнала "Время и мы": /временный адрес/:
594 Chestnut Ridge, Road Orange. Conn. 06477. USA

Типография "Дерби", Улица Амавдиль, 6, Т.—А.

Художник Лев Ларский
Корректор и литературный редактор Эвелина Браверман
Технический редактор Наталья Рубина

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Иллюстрации на первой странице обложки и к статье "От царя Давида до Липке Бухгалтера" взяты из израильского журнала "Зманим".

На четвертой странице обложки: Бернард Фукс "Знаки зодиака" /Бруклинский музей/.